

---

# ШАЛАМОВСКИЙ СБОРНИК

---

*ВЫПУСК*

1

В ЭТОМ ДОМЕ 1 ИЮЛЯ 1907 Г. РОДИЛСЯ  
И ДО 1924 ГОДА ЖИЛ ЗДЕСЬ ПИСАТЕЛЬ

**ВАРИАМ ШАЛАМОВ**



---

# ШАЛАМОВСКИЙ СБОРНИК

---

*ВЫПУСК* **1**

Вологда  
1994

Первый в России сборник, посвященный жизни и творчеству В. Т. Шаламова, включает в себя материалы из литературного наследия, воспоминания о писателе, статьи отечественных и зарубежных исследователей. Ряд материалов написан специально для данного издания.

Сборник представляет первый выпуск задуманной серии. Рассчитан на широкий круг читателей.

Составитель **В. В. Есипов**

Фоторепродукции **Д. В. Чеснокова**

Издание осуществлено при содействии  
Администрации Вологодской области  
и при активной поддержке Череповецкомбанка

*Из литературного  
наследия*

Аввакум в Пустозерске

Не в бровях, и в речах  
Церкви мой  
В чужбине кедоброй  
Многострадаль.

Сломанен духперстень  
Поднялся мой крест  
Зорь в Пустозерске  
Ближай окрест

Я вонду прославил  
Везде записан  
Легендою давней  
В сердцах утверждён

Сердце и бегумен  
Я был, говорю  
Страданье и умер  
За святой обряд.

Пустынь и башен  
И предан кресту  
Мучь прах мой развёл  
На горной ветру

Нет утаски слаще  
Меланчию кошу  
Чем пепел, сгущенный  
В людские сердца.

Автограф стихотворения «Аввакум  
в Пустозерске» (1955 г.)

## РАССКАЗЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

*Эти рассказы не были включены в сборники «Колымских рассказов», выпали из сложной и тщательно подобранной мозаики эпопеи. Хотя первые два написаны в пору, когда Варламом Шаламовым готовились сборники «Левый берег» и «Артист лопаты», они, как и некоторые другие, в них не вошли.*

*Два последних рассказа — из прозы 70-х годов, пожалуй, самой тяжелой и безнадежной, словно в ней сгустился осадок трагической жизни Шаламова. «Вставная новелла» несколько сокращена публикатором, чтобы не раскрывать подлинного имени героя. Его пощадил автор, заменив в рукописи подлинное имя на вымышленное; думаю, что поступаю по его воле и я. А странный рассказ «Жук» кому-то, возможно, покажется и вовсе не шаламовским...*

*Ирина Сиротинская*

## ШАХМАТЫ И СТИХИ

Жена Лимберга была страстной шахматисткой, а сам Лимберг был большим лагерным начальником, «обсосом», как говорилось на блатной фене в то блаженное время, когда блюли всякие законы — и гражданские, и блатные. Лимберг был заместителем Берзина, приехал на «перековку», хотя слово это появилось позднее, на Медвежьей горе. «Курилка» с Соловков был уже расстрелян, на смену «произволу» шла «перековка». Ее и привез в Вишерский лагерь Лимберг, латыш. Но в шахматы он не играл, а жена его была страстной шахматисткой. Среди лагерного начальства она не встречала достойных партнеров по шахматной своей силе. Она играла в клубе, лагерном клубе с заключенными.

Художник Новиков, растратчик, которому срок чуть не выдали «весом», но в последнюю минуту заменили на десять лет, был хорошим шахматистом и в Москве даже посетил Международный турнир с Капабланкой и Ласкером. Это был бесспорный вишерский чемпион.

Вторым по силе был калмык Шембеков, практик и хитрец.

Третье место занимал я — нарядчик одной из лагерных рот.

А супруга Лимберга играла почти как Вера Менчик — она выигрывала на моих глазах у Новикова, у Шембекова...

Пришла и моя очередь сыграть с именной шахматисткой.

Фигуры были расставлены, игра началась, и я увидел сразу, что мадам Лимберг — слабый игрок. Я выиграл партию.

— Сыграем еще, — сказала начальница.

Я расставил фигуры. Шембеков толкал меня локтем в бок дважды, но я выиграл и вторую партию.

Начальница заволновалась:

— Что-то я плохо сегодня играю. Завтра обязательно сыграем еще... — И она, грузно опираясь на стол, встала и вышла.

— Что ты делаешь? — зашептал Шембеков. — Ты понимаешь, что ты делаешь? Мальчишка!

Появился Новиков. «Обыграл, дурак. Обыграл».

— Начальство нельзя обыгрывать.

На следующий день начальница снова проиграла.

— Разрешите мне, — сказал Новиков.

— Зачем? Я ведь в шахматы играю. Шахматисты подхалимов не любят.

Новиков покраснел.

Все это было в двадцать девятом году, а в пятьдесят пятом было другое.

Я приехал в пятьдесят третьем с Колымы, и в паспорте у меня была записана 39-я статья — право жительства в поселках с населением не свыше 10 тысяч человек. Я было попытался устроиться в Конакове, в райздраве на должность фельдшера, но колымских моих документов хватило лишь на оклад медсестры с незаконченным образованием — 230 рублей в месяц. Пришлось мечты о фельдшерской работе оставить и искать что угодно.

В Калинин я встретился с директором местного торфотреста — я когда-то знал его отца. Сам директор посидел в 1937 году года два в тюрьме, и хотя ему обошлось все благополучно — некоторое понятие о законности того времени он составил. Директор устроил меня не в Калинин, там жить мне было нельзя — город велик — и не в «своих» торфопредприятиях, а из осторожности — в строительное управление, где начальником был его хороший знакомый.

Я много раз ночевал у директора, познакомился с его женой, с сыновьями — один учился в университете, любимец мамы, другой кончал среднюю школу. Мамаша, жена директора, ухаживала за

мной, как за родным сыном, вручала ключи от квартиры, всячески заботилась. На строительстве товароведом я проработал недолго. Начальник строительства выдвинул меня на тысячный оклад в должность зам. зава отделом, и партийная организация строительного управления выразила официальный протест по этому поводу. Тут и начальника сменили.

Приехал из Москвы на «низовку» бывший начальник спецотдела некто Берлин. Строительство выполняло до прихода Берлина тридцать процентов плана. С приходом нового начальника стало выполняться пятнадцать, и Берлин был спешно снят. Но за это время он, как бывший спецотделец с надлежащим знанием и умением, уволил несколько человек по мотивам «бдительности». Я до сих пор храню копию приказа о моем увольнении: «в связи с невозможностью использовать в гор. Калинин». Директор перевел меня на свое торфопредприятие, и я там на вдвое меньшем, чем на строительстве, окладе работал с большой охотой до самой своей реабилитации.

И каждый раз, приезжая в Калинин, я мог остаться ночевать у директора и действительно этой любезностью пользовался несколько раз.

Но случилось вот что. Красавец студент, сын директора, вздумал писать стихи — того же качества, что пишут все в его возрасте. Матери это показалось признаком гениальности. Зная, что я, кажется, занимался раньше литературой или писал в газетах, что, по их общему мнению, было еще лучше, они преподнесли мне толстую пачку листков с лирическими стихами гениального сына. Я имел терпение все перечесть самым аккуратным образом и, перечтя, сказал, что «стихов тут еще нет» — то неуловимое, что называется поэзией, сюда еще не пришло.

Красавец студент вежливо поблагодарил меня за совет, и все вместе пообедали, как выяснилось, в последний раз.

Через несколько дней я вошел вечером в квартиру директора. Директор накачивал примус и не глядел мне в глаза. Я спросил о здоровье жены.

— Больна, больна.

— А мне можно переночевать?

— Нет, нет. Больше ночевать у нас нельзя.

Это была моя последняя встреча с директором у него дома.

## ГЛУХИЕ

Я медленно глохну. Зрение заменяет мне слух. Глаза обладают силой ушей, помогают ушам, кидаются на помощь. А когда темно — руки помогают ушам. Но, конечно, руки не глаза. Я еще слышу мир, еще могу беседовать с людьми, если вижу мир, движущиеся губы. И каким-то особым напряжением мозга, ранее мне неизвестным, угадываю слова и успеваю подобрать ответ и чувствую себя еще человеком. И никто не знает, сколько душевных и нервных сил стоит мне каждый разговор.

У меня есть тревожные, бередящие душу воспоминания.

Слуховой рожок, очки? Нет, при моей болезни рожок и очки не помогают. Больше того — сам отказ мой услышать с помощью очков — служит для различения моей болезни, или, как говорят медики, служит средством дифференциальной диагностики.

Очки, слуховой рожок мне не годятся. Но мир глухонемых — веселый, оживленный мир. Их азбука, их жесты кажутся живостью, весельем, а наверное, это совсем не веселье. Проклинаю свою глухоту, сигнализирует один. И я тоже, отвечает другой. Да! Да! Да! Проклинают.

В тридцать четвертом году приглашен был я на встречу деятелей науки и писателей. В том доме, в том зале — это было на Поварской, — где столько после было писательских собраний. Седьмая комната не вместила явившихся на встречу. Ученые были математик Гельфанд, молодой еще, мальчик совсем, Лисицын, братья Завадовские, которые скоро должны были погибнуть. Из писателей самым крупным, самым колоритным был Вересаев, сидел в первом ряду писательской группы в своем брезентовом плаще, да и другие не раздевались. Председательствовал Семашко, веселый, живой человек, написавший такую скучную автобиографию; лишенный всякого писательского дара, Семашко был общительным, культурным, разносторонне одаренным человеком. Но писать не умел.

На этой встрече сразу определились разные уровни общей культуры писателей и общей культуры ученых.

Ученые были даже в писательских вопросах, в вопросах психологии творчества пограмотнее любых писателей. Сидевший со мной рядом Даниил Крептюков, у которого ЗИФ издавал полное собрание сочинений, не нашел ничего лучшего, как рассказать о своем дежурстве в Зимнем Дворце во время войны и о развлечениях великих князей из дома Романовых на манер калидонской охоты. Другие писательские выступления были не лучше — и знаток

Горация, переводчик Вергилия Вересаев укоризненно наводил свой слуховой рожок на очередного оратора и первый пожимал плечами после каждой речи.

Этот слуховой рожок Вересаев наводил и на рты ученых и удовлетворительно улыбался после речи Завадовского или Лисицына.

Вересаевский слуховой рожок и остался в моей памяти от этого странного собрания.

Главный хирург Советской Армии Бурденко был глух вовсе. Но работу бросать не хотел. Глухота придавала особый колорит административной работе Бурденко. Громким деревянным голосом он быстро задавал вопросы, спешил, а для ответа совал блокнот с привязанным к нему карандашом.

Годы были тревожные, тридцать седьмой, и за спиной Бурденко говорили, что он аггравант, преувеличивает степень своего заболевания и, заставляя писать ответы, хочет оставить «следы», «обезопасить себя», и так далее. Но Бурденко был глух.

Томский терял слух медленно. В тридцать втором году на партийных собраниях в Москве громили «правых», а Томский был ведь лидером. Промолчать — значило струсить, а Томский глож, не слушал, что говорил оратор от «ортодоксов». Полемика Томский был блестящий, но какая уж полемика для глухого! Томский понимал яснее и раньше других, куда все идет.

Страдание было на его лице, когда, оттопырив ухо, подходил, не стесняясь, к трибуне, где председательствовал какой-нибудь мальчишка, и напряженно слушал, слушал, слушал.

Томский понимал, что речь идет о жизни и смерти. Устав от напряжения бесполезного, Томский перестал слушать и сел за стол президиума на край стола и обхватил голову руками.

И когда очередной оратор кончил говорить — нагнулся к председателю и сказал, как-то заискивая, как-то беспомощно улыбаясь:

— Проработали Михаила Павловича, братцы?

— Проработали, — сухо ответил председатель. И Томский встал и вышел на трибуну, отмахиваясь от вспышек фотокорреспондентов, треска киноаппарата и, забыв и презрев глухоту, говорил, говорил, говорил.

К 1937 году Томский оглох вовсе. После одного собрания, где ему писали записки, а он «отвечал», Томский приехал на дачу, велел своей старушке жене поставить самовар — сказал, что будет пить чай в саду. Когда старушка жена прибежала на выстрел, Томский был уже мертв.

## ВСТАВНАЯ НОВЕЛЛА

Я могу написать этот рассказ гораздо лучше, чем я его пишу. И не спешка вынуждает меня держаться не очень строгой манеры. Я хочу, чтобы каждое слово этой вставной новеллы дошло до ушей Глеба Гусляка в не искаженном моим и его мозгом виде, в наиболее понятной, не допускающей лжетолкований форме.

«Сколько лет я тебя не видел? Пять? Шесть?» — подумал Горданов, пропуская Гусляка в узкую дверь своего нового жилья, куда, казалось, не могла пробраться ни одна земная тварь — ни крыса, ни мышь, ни паук.

— Мы не виделись восемь лет, — сказал Гусляк, выставляя вперед, как щиток, свою жирную ладошку. — Ты плохо принимал меня последний раз — не подарил ни одной книжки своей, не снабдил никакой информацией, так нужной мне в моей глуши. Я, признаться, был обижен — ведь наши отношения... Но потом я думал, думал и придумал. Я понял, что ты занят каким-то важным секретным делом, куда для меня нет доступа. И тогда успокоился.

«Член ЦК, — тоскливо подумал Горданов. — Опять член ЦК». В словаре гордановском с юности существовало выражение «член ЦК», нечто вроде модной идиомы, когда людям воздавалась честь, им не принадлежащая, под шумный шепот окружающих...

«Член ЦК» — это и есть слух, одна из моделей «холодной войны».

Услышав, что дело течет по знакомому руслу, где можно предсказать любой поворот, любой перепад в неудержимости потока, Горданов хотел прекратить этот разговор.

— Это все?

— Нет, не все! Весной этого года меня вызывали и допрашивали по поводу твоих рассказов.

— Но ведь мои рассказы есть во всех редакциях, во всех издательствах, и не одной Москвы. Я впервые за семнадцать лет, что прожил в Москве, сталкиваюсь с такой самодеятельностью, чисто художественной самодеятельностью, местным следовательским творчеством. Ввиду ошеломительности известия, важности вопроса, принципиальности его прошу рассказать мне все подробно и подряд.

25 мая 1972 года магаданский бывший зэк Глеб Гусляк получил неприятный вызов. Гусляк решил встретить судьбу лицом к лицу и

храбро отправился туда, куда его вызывали и где он не бывал более тридцати лет.

На крыльце учреждения, куда его вызывали, мелькнула знакомая Гусяку женская фигура и не только махнула, а как бы сделала ручкой. Встревоженный вошел Гусяк в дверь учреждения, порядки в котором, как он слышал от многих знакомых, здорово изменились. Это внутреннее сознание изменившихся порядков и поддерживало дух экономиста, выдавшего и тридцать седьмой, и тридцать восьмой год на Колыме.

Поправив галстук, он вошел в кабинет. Кабинет был открыт, окна распахнуты. День был солнечный, для Магадана это редкость, и все ловят эти лучи — и следователи, и подсудимые. Солнце било через плечо следователя, как сильная лампа, прямо в глаза Гусяка. Гусяк сощурился и отодвинулся.

— Значит, это вы и есть Гусяк, Глеб Гусяк, — с видимым интересом сказал следователь.

— Да, это я.

— Тогда мне придется сначала закончить официальную часть.

Следователь подвинул к себе бланк допроса, авторучку:

— Фамилия?

— Ну, я могу побеседовать и без записи.

— Нет, нет, память человека — шаткая вещь, а мы — люди официальные. Не откажите в любезности начать все с самого начала.

В животе Гусяка что-то забурчало, и он, отвечая на анкету, все пытался уловить момент начала настоящего допроса, какого-нибудь сверхтайного удара из-за частого анкетных данных. Но анкетное колесо катилось обычным порядком, не убыстряя и не замедляя свои обороты. Все было записано и доведено до нынешнего утра в этой истории болезни.

— Скажите, вы хозяин литературного салона в Магадане?

— Салона?

— Ну да, вроде парихмахерской, где обмениваются новостями, читают газеты, обсуждают литературные новинки, знакомятся с метеосводкой Би-би-си.

— У меня действительно бывают люди, обмениваются новостями, литературными новинками. Ведь это не запрещено?

— Отнюдь. Весь вопрос, с какими целями существуют эти салоны и какие новости там обсуждают.

— Но ведь в Москве и Ленинграде есть такие, почти официальные.

— Все дело в этом «почти», — сказал следователь, — но я не работник Москвы, я отвечаю только за Магадан. За то, что читается в Магадане.

— У меня нет ничего недозволенного.

— Надеюсь. Вот у меня только что была гражданка, с которой вы поздоровались на моем крыльце. Вот ее допрос. У нее найдены рассказы московского автора под названием «Колымские рассказы». Я прочел их внимательно. Колыма — моя служба. Ничего в этих рассказах нет, чего бы не признавало правительство, а стало быть, и я. Там есть только один рассказ, который я считаю измышлением досужего пера. Это рассказ о том, как лошадь посадили в карцер.

— «Калигула»?

— Совершенно верно.

— Если даже это и неправда, товарищ следователь, — медленно, смакуя заранее взвешенную фразу, выговорил Гусляк, — то ведь это не моя вина, а автора.

— Конечно, я так, к слову. Ну, какие бы ни были рассказы этого автора, гражданка, которая встретила с вами на моем крыльце, сказала, а я записал ее слова, что она получила эти рассказы от вас для распространения. Вот, подпишите здесь и можете быть свободны.

— Я никогда не подпишу этой клеветы на себя, этой возмутительной лжи, которой...

— В чем тут ложь, не пойму, — сказал следователь.

— Я никогда не давал ей этих рассказов для распространения.

— Но вы давали эти рассказы?

— Давал.

— Ну, так в чем же дело?

— Я давал для прочтения, а не для распространения.

— Ах, вот в чем дело, — холодно сказал следователь. — Я исправляю в вашем присутствии: для прочтения. Теперь подпишите.

— Подписываю. В этом деле надо следить за всякой тонкостью, за всяким опасным оборотом речи. Мой тридцатилетний опыт говорит...

— Безусловно. Теперь перейдем ко второй части нашего знакомства. Вы ведь собираетесь лететь в отпуск?

— Да, в последний годовой отпуск.

— Москву, конечно, будете проезжать? Скажите мне, — Чарусов откинулся на кресле, пропуская солнце, бившее из-за его спины, прямо в лицо Гусляка. — Скажите, зачем вы это делаете? Ну, показываете эти рассказы о том, что было в тридцать седьмом году? Ну, автор их хочет попасть в историю, а вы-то размножаете их зачем?

— Я — не размножаю.

— Ну, показываете, обсуждаете, ведь ничего этого нет сейчас. Вы объехали вдоль и поперек всю Колыму, ведь ничего подобного нет.

— На всякий случай.

— На какой случай?

— Ну, чтобы все это не повторилось.

— Ах, вот что. Вы считаете, что распространение таких рассказов...

— Я не распространял таких рассказов.

— Ну, хорошо — чтение. Вы считаете, что чтение таких рассказов...

— Да, я верю в Литературу с большой буквы.

— Вы, наверное, пользуетесь его личным доверием?

— Безусловно, — сказал Гусляк.

— Вот-вот. Только нам не нужна ни пейзажная лирика, ни мертвая вода. Нам нужно нечто более гражданственное, более реалистическое. Например, где, когда, сколько договоров им подписано, цифры, даты, записывайте все, чтобы нам потом вас не проверять. Это — элементарно на вашем новом поприще. На что он живет?

— На пенсию.

— Сколько?

— Семьдесят два рубля в месяц.

— На эти деньги жить нельзя. Поэтому сугубое внимание, а мы его оформим сразу как тунеядца, если его годовой заработок, баланс, будет не в его пользу. Вы поняли меня?

— Понял.

— Я считаю вас советским человеком, который сам отдаст в руки то, что, по его мнению, может представлять интерес для такого учреждения, как наше. Сейчас мы с вами пойдем в вашу квартиру, и вы отдадите своей рукой все, что считаете вредным. Кстати, немножко прояснилось, и я с удовольствием пройду пешком. Редко приходится бывать на улице...

— Я не буду входить к вам, — сказал следователь, не вешая плаща и стоя у порога, весьма невнимательно оглядывая помещение местного литературного салона. — Вы сами, своей рукой достаньте из своих тайников, — следователь улыбнулся, — то, что вы считаете сами наиболее зловредным для советской власти.

— Вот, — Гусляк протянул две книжечки стихов и несколько листков, напечатанных на машинке.

— Весьма лестные надписи, — сказал следователь, укладывая сборники в свой портфель.

— Этот человек мне лично многое обещал.

— Тем лучше.

— Вот так ты и назвал мою фамилию.

— Это не я, это она, эта подлая растлительница душ, я только подтвердил.

Горданов смотрел на Гусяка не с удивлением, а с омерзением, ему так хотелось, чтоб хоть один человек, прошедший Колыму, остался человеком. А впрочем, это было ребяческое желание. В самых глубинных слоях его мира, воспитанных опытом, его опытом, не было места для таких надежд.

— Так что тебе нужно от меня?

— Мне нужно, чтобы ты подтвердил, ты ли мне лично давал эти четыре рассказа.

Гусяк чуть не плакал, голос его дрожал.

— Все это правда, правда.

— Ты не откажешься от своих слов?

— Да, конечно.

Гусяк перевел дыхание.

— Значит, я могу записать, — в руках Гусяка оказалась новая записная книжечка, — склероз, брат, записать, что ты лично мне давал эти рассказы.

— Конечно.

— Спасибо.

Рукопожатие чуть не привело к уловлению руки, но Горданов вывернул руку.

— Еще что?

— Понимаешь, мне следователь сказал, чтобы я записал все твои заработки за последний год. Я, помню, видел у тебя, ты нес какую-то рукопись в издательство.

— Мои переводы в Алма-Ате.

— И договор есть?

— Да.

— Позволь мне записать его номер, мне это очень важно.

Горданов открыл папку своих договоров.

— Еще что?

— Ну, прощай, ты меня просто спас.

Горданов хотел добавить еще несколько слов, но Гусяк выскользнул на лестницу.

## ЖУК

Этого жука я увидел издалека и давно — по расчету пляжного времени — пожалуй, за целую минуту, пока он приблизился, дополз до моей ноги. Был яркий, даже ярчайший солнечный день, людей на пляже не было, волны почти бесшумны. На всем пространстве от берега до моих ног было только два живых существа: я и ползущее ко мне через весь пляж, ползущее прямо на меня какое-то черное крошечное существо, ползущее по какой-то кратчайшей, прямой линии.

Это была не божья коровка, а вполне осмысленное создание, имеющее какую-то цель в жизни.

Быстрота движения была такой, что захотелось досмотреть до конца этот бег, которому позавидовал бы Ахиллес, попытаться без секундомера, по пульсу засечь скорость его движения в направлении ко мне.

Я хотел рассмотреть его получше, когда существо приблизится и пройдет, пробежит, проползет мимо меня.

Метров двадцать оставалось еще, когда я увидел, что существо имеет определенную цель движения, запрограммированную в мозгу насекомого, а что это — насекомое, у меня не было сомнений.

Целью его движения был я. Хотя я не двинулся с места, от меня, очевидно, исходили магнетические токи, телепатические токи — насекомое читало в моих мыслях, как в своих.

«Сквозь землю, — думал я, — существо не может провалиться — песок был слишком плотен, как дно клетки тигра».

Но существо и не стремилось уклониться от встречи со мной.

Жук — если это жук — полз прямо на меня, бежал, как марафонский боец, задыхаясь. Метров за пять на голом, пробитом всеми ветрами пляже жук отчетливо виден.

Движение его ко мне убыстрялось. Я понял, что жук хочет меня укусить, и быстро сосчитал в уме то количество яда, которое жук может нести в своем крепком, жестком теле. Разделил результат на кубатуру моего тела — я не отступил, не уклонился, а стал ждать, чем все это кончится, не убирая ноги.

Черный жук дополз до моей ступни и немедленно всадил свое жало-кинжал в верхнюю часть ступни, не выбирая места удара.

Это был крохотный жук, не более сантиметра ростом, но удар был очень болезненный, настолько, что я едва устоял на ногах. Прокол был нанесен каким-то широким пробойником, буравом.

Жук тут же выпустил всю свою жидкость: кровь, слюну, лимфу — мне под кожу и умер мгновенно, тут же отвалившись в сторону, все на том же блестящем солнце.

Я не выдавливал яда — думал, что организм жука не может справиться с человеческим телом.

За сутки нога моя распухла, болезненно чесалась кожа. Припухлость была твердой, горячей.

Я не следил за раной. Я понимал, что в человеческом теле никаких процессов ускорить нельзя. Я знал по литературе, что должен пройти какой-то срок, в течение которого тело само залечит свои раны. Через пять дней рана моя перестала чесаться.

Но память? Память? Что делать с памятью?

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

*Публикуемые нами незавершенные воспоминания В. Шаламова, над которыми он работал в 70-е годы, охватывают события его жизни с середины 20-х до середины 50-х годов.*

*Отдельные наброски с пометкой автора «ММ» ("Москва") — это все, что осталось от нереализованного замысла рассказать о Москве двадцатых—тридцатых годов. Ранее Шаламовым были написаны «Двадцатые годы», литературные заметки студента МГУ. Большая же вещь так и не была написана.*

*«Воспоминания» о Колыме — из последних произведений Шаламова. Еще только несколько рассказов создал он позже, большей частью тоже незавершенных.*

*Предисловие к «Воспоминаниям» о Колыме было перепечатано на машинке — автор считал этот текст отработанным. Остальное сохранилось в черновиках, написанных неразборчивой скорописью.*

*Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 48, 51, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 89.*

### (МОСКВА 20-х—30-х годов)

Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широкоплечий Троцкий стоял в красноармейской форме, в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на булыжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.

Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».

Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский, Ярославский, Каменев, еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.

Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концессома, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.

Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они — все равно.

*Разве можно горелкою Бунзена  
Заменить стосвечовый Вольфрам.  
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,  
Это просто срам.*

Это [вероятно] первая частушка литературного творчества оппозиции — весьма, как известно, обильного.

Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали.

Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно — весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в этот последний год его жизни — об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крестинский и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский, и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.

Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит.

Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.

## КУРУКИН

В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.

Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благодетельном, не только оздоравливающем, но преодолевающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса — «рабочему станку».

Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий — это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.

Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.

Для того, чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 г. на кожевенный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.

Народу было человек 30 всего рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помещалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество,

производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частных, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному социально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.

По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.

Зарботки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.

До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю, за восемь рублей в месяц.

Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самостоятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самостоятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет и не только потому, что Новгородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства, так называемых рецидивов неграмотности.

Случилось так, что автором проекта декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.

«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.

Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а позже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой

сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.

Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.

Ритм хлебава регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старший кожевник, седой отделочник. В нужный момент он восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!». Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в коддоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.

Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.

Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.

Посуду у нас мыли по очереди, и когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.

— Дай-ка сюда.

Курукин вырвал у меня из рук и стакан и полотенце.

— Смотри.

Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.

— Всякое дело требует знания, приспособления, — сказал Курукин. — Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе — я 20 лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.

Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах нэпа, пытаюсь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934 я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом — вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.

— Иван Петрович!

— Шаламов!

Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись, поцеловались.

— Я угощаю!

— Я.

Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил, кому надо, целую тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен. Скопить тоже много не пришлось — семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.

## КУРСЫ ПОДГОТОВКИ В ВУЗ

Тетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире при больнице, где тетка работала много лет. Тетка — вологжанка, уехавшая на бестужевские курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование. У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны

и революции разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впрочем, все осточертело — и медицина, и жизнь.

Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим без единого советчика во время движения поезда Кунцево—Москва. Я понимал, что опаздываю, что завод не дает мне ничего, кроме физической усталости, что пропуск, разрыв между образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.

Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде, да еще во время гражданской войны, дальтон-плана<sup>1</sup> и посылок АРА — не настоящее образование.

Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств вызвали у меня холодный пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг — старых моих друзей.

В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской. Нужна была только крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более что она жила с мужем неладно.

В библиотеку я записался в Ленинскую — Румянцевскую, кроме того гораздо удобнее оказалась читальня МОСПС в Доме Союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я и провел весь 26-й год, день в день. Модестов — известный русский статистик — заведовал тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)...

---

<sup>1</sup> Дальтон-план — бригадная система организации учебного процесса, разработанная Е. Паргерот в г. Дальтоне (США). (Здесь и далее — примечания публикатора.)

Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского — поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.

В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом по художественной литературе — по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда и нигде не ослабевал.

При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяснилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок, который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало. Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.

Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после этих лет, абсолютно не нужных, на кожевнном заводе. То ли именно мне не нужна была такая школа, то ли сам полукустарный заводик не обеспечивал духовных кондиций, необходимых для переделки человека, — не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угрожающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтение, в лекциях в духовную жизнь страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явилось у меня в те дни в читальном зале МОСПС. Этого было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка могла спасти только в медицине. Я вырос без зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зубрежкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.

Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную программу в рекордно короткий срок. Выходом явились курсы подготовки в вуз, открытые тогда повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая давала надежды на успех.

Наши курсы помещались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц. Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда — бумага эта говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.

Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще более укрепляло доверие к этим странным документам.

По физике, по математике я подогнал настолько основательно, что осенью того же года на экзамене в МГУ получил вуд<sup>1</sup> по математике вместе с лестным вопросом, почему я не иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяснить экзаменатору психологию моего эффекта — эмоциональное напряжение после трехлетнего ожидания, эмоциональный подъем, разрядка в нужный момент, хотел объяснить, что за этим эффектом ничего нет к физическим наукам — ни любви, ни уважения. Но счел нужным промолчать.

Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение — при вуде за письменную был освобожден от наиболее нудной части словесности — устного экзамена.

Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро, тоже из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подходило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал — темпа нужного, ритма я не находил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку — а слушателей было человек сорок — преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа

---

<sup>1</sup> Весьма удовлетворительно (тогда была трехбалльная система оценок — вуд, уд, неуд).

все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева — об «Отцах и детях», кажется.

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листов.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «дукат», — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку.

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня все так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о постижении этого неуловимого [нрзб].

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да, — сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, а я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

## ЛУНАЧАРСКИЙ

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, — он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные

отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча нарушилась.

— Это не ко мне, — завизжал нарком, — не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано, — резонно сказала Валя, — о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон-Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей — герои гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

## ШТУРМ НЕБА

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории,

да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды<sup>1</sup>, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе<sup>2</sup> велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.

Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью.

---

<sup>1</sup> Валленрод Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391—1393 гг., по легенде — литвин. Орден в это время вел войну с Литвой.

<sup>2</sup> Ранион — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

## КОНСЕРВАТОРИЯ

Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностран-ных скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того, чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо — все словесные и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории — наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась — кино «Колосс», причем по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москвареке», а не «на Москве реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

В консерватории было то, чего не было в университете, — буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.

## [УНИВЕРСИТЕТ]

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара — руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОНОм и Комакадемией<sup>1</sup>, где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, — красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.

То же было и в клубах. В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков, и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал.

Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме, фабрика Брокера стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура... И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг, и Шагал, и Малевич, и Кандинский создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

---

<sup>1</sup> Коммунистическая академия (1918—1923 — Социалистическая академия) просуществовала до 1936 года.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях — иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета — советского права и этнологический, — куда входили литературное и историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: [Милькан], Володя Смирнов, Арон Коган. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [нрзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.

Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубашке с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.

19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы.<sup>1</sup>

Все мы были рады, что глупая петиционная кампания<sup>2</sup> кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.

## МОСКВА 30-Х ГОДОВ

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие нэпа — было ли это? Пузыри или вода целебного течения — все равно — исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилося в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы<sup>3</sup> при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум — но закрытые распределители.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль — человека с пистолетом.

---

<sup>1</sup>Шаламов распространял отпечатанное подпольно «завещание» В. И. Ленина — «Письмо к съезду». Был осужден как «социально опасный элемент» на 3 года лагерей. Срок отбывал в Вишере, на Северном Урале.

<sup>2</sup>«Петиционной кампанией» Шаламов называет неоднократные выступления оппозиции с внутривнутрипартийными заявлениями и платформами.

Шесть условий товарища Сталина, «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — один из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва — Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отразилось в семье русского интеллигента.

Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свидания с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с журналистом Шумским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья большая, три дочери, хозяйева пили — [картина] знакомая, — и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа — должность в Музее революции.

— Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И — экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуйешь, товарищ Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот — в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробраться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку,

справку из лагеря об освобождении, военный билет — и явился на Петровку.

Проверка была недолгой, возвратив документы, товарищ Ерофеев подписал мне пропуск на выход.

— А в чем дело?

— Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.

После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД товарище Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.

В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля — писателя наиболее модного в те времена — я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девушек, похожих на ботфорты...» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зощенко и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зощенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зощенко трудно переводить. Его рассказы не переводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.

Я работал в московских журналах<sup>1</sup>. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я не был и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских кружков 1928 года, первый рассказ мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.

В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе. «Я почувствовал, — пишет Бунин, — что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-особому...».

---

<sup>1</sup> В 1932—1937 гг. Шаламов работал в журналах «За ударничество», «За овладение техникой». «За промышленные кадры».

У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напечатания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы мои совершенны. Потеря в другом — самая мысль не достаточно многосторонняя, недостаточно символична, что ли. Может быть получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.

## **ВОСПОМИНАНИЯ (О КОЛЫМЕ)**

### **Предисловие**

*Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе распотанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра — ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства.*

*И почему я? Я не Амудсен, не Пири. Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я.*

### **КТО ЗНАЕТ МАЛО – ЗНАЕТ МНОГО**

Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней то, что выходит из-под его пера.

С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных и логических, в его отборе, в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.

Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость, — оценки чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.

В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [будет] свободен в своих оценках. Когда опыт неглубок, писатель, передавая увиденное и услышанное на суд читателя, может справедливо распределить масштабы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.

Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.

Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает меня. Человек говорящий не может не лгать, не приукрашивать. Способность вывертывать душу наизнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все, что на бумаге, — все выдуманно в какой-то мере.

Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Борьба с художественной правдой во имя правды жизни — эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что сама правда жизни переходяще изменчива. Она — однодневка, она не та, что была вчера, и не та, что будет завтра. Чувство — единственное, в чем не лжет художник. Если ему удастся донести это чувство до читателя любым способом, — он прав, он выиграл свое сражение. Но как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал художника в его скитаниях, а языком другим — пускай несравненно более богатым, но — другим?

## ПАМЯТЬ

Несовершенство инструмента, называемого памятью, также тревожит меня. Много мелочей характернейших неизбежно забыто — писать приходится через 20 лет. Утрачено почти бесследно слишком многое — и в пейзаже, и в интерьере, и, самое главное, в последовательности ощущений. Самый тон изложения не может быть таким, каким должен быть. Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые — гнетут, и искусство жить, если таковое имеется, — по существу есть искусство забывать.

Я не вел никаких записок, не мог их вести. Задача была только одна — выжить. Плохое питание вело к плохому снабжению клеток

мозга — и память неизбежно слабела по чисто физическим причинам. Она, конечно, не вспомнит всего. Притом ведь воспоминание есть попытка переживания прежнего, и всякий лишний месяц, лишний год неизбежно ослабляют впечатление, ощущение и меняют его оценку.

Много раз со всей убедительностью приходило мне в голову, что интеллектуальное расстояние от так называемого «простого человека» до Канта, что ли, во много раз больше такого же расстояния от «простого человека» до его рабочей лошади.

Гамсун в «Соках земли» оставил нам гениальную попытку показать психологию простого крестьянина, живущего далеко от культуры, — его интересы, его поступки и мотивы их. Других подобных книг в мировой литературе я не знаю. Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью начинают своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо более усложненной. В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется. И даже в тех случаях, когда он образован, он использует это оружие для защиты своих примитивных чувств. В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его психология чрезвычайно проста, что его словарь сужен, а чувства его притуплены? Рассказывать об этой жизни нельзя от первого лица. Ибо это будет рассказ, который никого не заинтересует, — настолько беден и ограничен будет душевный мир героя.

Как показать, что духовная смерть наступает раньше физической смерти? И как показать процесс распада физического наряду с распадом духовным? Как показать, что духовная сила не может быть поддержкой, не может задержать распад физический?

Когда-то в камере Бутырской тюрьмы я спорил с Ароном Коганом, талантливым доцентом Воздушной академии. Мысль Когана была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист. Это была светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пресловутого «метода № 3» на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 г., бить на следствии начали во второй

половине 1937 г., когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимущество обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией, как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением.

Интеллигент не мог обдумать лагерь заранее, не мог его осмыслить теоретически. Весь личный опыт интеллигента — это сугубый эмпиризм в каждом отдельном случае. Как рассказать об этих судьбах? Их тысячи, десятки тысяч...

Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интеллигентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепости? В присутствии какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые? Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том, что человек человеку — волк и когда это бывает? У какой последней черты теряется человеческое? Как о всем этом рассказать?

## ЯЗЫК

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — язык будет беден, скуден. Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то ступени развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге. Начальство, уголовников, соседей — буквально всех — раздражает витиеватость интеллигентской речи. И незаметно для самого себя интеллигент теряет все «ненужное» в своем языке... Весь мой дальнейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем — если что-либо запомнилось, то запомнилось позднее. Ни разу я не нашел в себе силы для энергичного возмущения. Я думал обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону — я не боялся смерти и спокойно думал

о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости.

Я вынужден писать тем языком, которым я пишу сейчас и, конечно же, у него очень мало общего с языком, достаточным для передачи тех примитивных чувств и мыслей, которыми я жил в те годы. Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения. Все же остальное — мысли, слова, пейзажные описания, выписки из книг, рассуждения, бытовые картинки — не будет правдивым в достаточной степени. Но мне все же хотелось бы, чтобы правда эта была правдой того самого дня, правдой двадцатилетней давности, а не правдой моего сегодняшнего мироощущения.

## [АРЕСТ]

12 января 1937 года я [был] арестован и поначалу допрашивался каким-то стажером по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым краснощеким стажером, красневшим от каждого своего вопроса, — вазомоторная штука — игра сосудов, вроде как у Гродзенского<sup>1</sup>, красневшего до корней волос, а то и до пяток.

— Значит, вы можете написать, что в 29-ом году разделяли эти взгляды, а теперь не разделяете?

— Да, так.

— И можете подписать?

— Конечно.

Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и знал все порядки и перспективы Лубянки, 14 — это «собачник», сборный приемник, оттуда ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2 — это значит, что ты государственный преступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую следст-

<sup>1</sup>Гродзенский Яков Давидович — знакомый Шаламова, также репрессированный в 30-е годы, отбывал срок заключения в лагерях Воркуты.

венную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в минусе или плюсе<sup>1</sup>.

Поэтому Бутырки — это жизнь, но не свобода. На волю из Бутырок не выходят. И не из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки — государственное колесо.

Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца — не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта многомиллионной literики — КРТА<sup>2</sup>. Впрочем, трибунал был в самой букве Т. В самом слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следователь Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присутствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки.

Жилищный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Ботвин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выгоняли оттуда, как «последнюю падлу».

— Вылетишь отсюда, как последняя падла, если хоть час пробудешь, — услышал я в коридоре голос какой-то высшей персоны.

Ботвин был чином невелик и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступавшие по моему делу, были навалены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были тогдашние кабинеты еще времен Дзержинского. Прочсть [можно] своими глазами любую строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест, допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний листок в моем тогдашнем деле — отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежур-

---

<sup>1</sup> Декретом СНК от 23 марта 1923 г. судьям предписывалось указывать, подлежит осужденный «более строгой или менее строгой изоляции».

<sup>2</sup> КРТА — контрреволюционная троцкистская деятельность.

ного коменданта. А кто был тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я объявил голодовку. Какая причина? — не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки к оппозиционерам.

— Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный, — равнодушно сказал мне дежурный комендант, — и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».

Ботвин тоже перечитывал и даже не спеша перечитывал дело, перечел и другую грозную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.

Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало, как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу документов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение, желание не проворонить чего-то, не оступиться на славном пути. Выжать из техники максимум того, что она может дать.

— Он руки к партии протягивает, — воскликнул Ботвин.

— Кто?

— Вы.

Кто-то из высших ставил на документе точки, тире...

Вдруг он изменил и план, и ход допроса. После получения моего старого дела были передопрошены все свидетели по моему делу — уже с замахом не на ссылку, а на трибунал. Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше максимума. Все сослуживцы — Гусятинский, Шумский — полностью передопрошены.

Гусятинский приволок массу новых фактов — ездил в Киев, где похвалил Ефимова — директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.

Ничем не изменились показания Шумского — против первого его допроса. Шумский оказался вовсе не трусом.

Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас

показывает, что вы были активным оппозиционером, только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.

Я угодил под литерку<sup>1</sup>.

Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену]:

— Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего в таком году, как 37-ой год?

— Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.

— Вот и отлично.

— Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем, раз в неделю.

— Пастернаку, — сказал я, — больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне, что мог, в своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной.

— Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу. Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.

— Еще бы — такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?

— Но не это главное, самое главное — тебе надо забыть все.

— Что все?

— Ну, вернуться к нормальной жизни.

## ДОРОГА В АД

Пароход «Кулу» закончил свой пятый рейс в бухте Нагаево 14 августа 1937 года. «Врагов народа» — целый эшелон москвичей — везли сорок пять суток. Теплая тишина летних ночей, глупая радость тех, кого везли в теплушках по тридцать шесть человек. Обжигая тюремную бледную кожу горячим ветром из всех вагонных щелей, люди были счастливы по-детски. Кончилось следствие. Теперь их положение определилось, теперь они едут на золотую Колыму, в дальние лагеря, где, по слухам, сказочное житье. Два человека в вагоне не улыбались — я (я знал, что такое дальний

---

<sup>1</sup> Шаламов был осужден за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет лагерей с использованием на тяжелых физических работах.

лагерь) и силезский коммунист, немец Вебер — колымский заключенный, которого привозили для каких-то показаний в Москву. Когда затих очередной взрыв смеха, нервного арестантского смеха, Вебер кивнул мне своей черной бородой и сказал: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение».

Помню еще Омск с замечательной баней — военным санпропускником, где мы, вымытые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнущей лизолом, лежали на каком-то дворе и смотрели на теплое осеннее солнце, окруженное маленькими серыми облачками. Листья деревьев были багровыми. К нам подошел старший лейтенант НКВД, жирный, бритый, прицепил большие пальцы своих рук за кожаный ремень, который едва стягивал огромный живот. Это был «представитель» НКВД, сопровождавший эшелон. Жалобы? Нет, мы не жаловались, да не для того, чтобы услышать жалобы, лейтенант подходил к этапу. Морда его, заплывшая жиром, и бледные костлявые фигуры, провалившиеся глаза заключенных запомнились мне хорошо.

— Ну вот вы, например, — толкнул он лакированным сапогом моего соседа, — что делали на воле?

— Я доцент математики в высшем учебном заведении.

— Ну вот, господа доценты, вряд ли придется вам вернуться к вашей профессии. Другим трудом придется заняться, более полезным...

Все молчали. Лейтенант продолжал развивать свою мысль.

— Конечно, я не могу советовать правительству, партии, но если бы меня спросили — что с вами делать, я дал бы совет: надо всех завезти на какой-нибудь северный остров — ну, скажем, остров Врангеля — и оставить там, прекратить сообщение с островом. Вся задача была бы вмиг решена. А вас везут на золото, хотят, чтобы вы поработали в забоях. Поработаете вы, доценты...

— А ты почему здесь? — лейтенант обратил взор к Володьке Иванову, рыжему, покрытому уголовной татуировкой с ног до головы. Сочувствие было явно слышно в голосе старшего лейтенанта.

— Я воспитатель Большевской колонии. По пятьдесят восьмой. По литеру.

— А-а-а...

И лейтенант проследовал дальше.

Помню трюм парохода, где к нашей компании присоединился некто Хренов — одутловатый, медленный. Вещей Хренов не вез на Колыму. Зато вез томик стихов Маяковского с дарственной надписью автора. И всем желающим находил страницу и показывал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», и читал:

*Я знаю — горюг будет,  
Я знаю — сагу цвесть,  
Когда такие люди  
В стране советской есть!*

Хренов был тяжелейший сердечник. Но на Колыму загоняли и безногих, и семидесятилетних, и больных в последней стадии туберкулеза. «Врагам народа» не было пощады. Тяжелая болезнь спасла Хренова. Он прожил как инвалид до конца срока, освобожден и умер на Колыме уже вольнонаемным — один из немногих «счастливицев».

Ибо не знаю, что такое счастье — уцелеть после великих мук или умереть раньше страданий.

Хорошо помню, как кончился пятый рейс «Кулу».

В бухту Нагаево пароход прибыл ночью, и выгрузку отложили до утра. А утром я вышел на палубу, взглянул, и сердце занялось от великой тревоги.

Шел мелкий холодный дождь. На берегу лысые порыжелые сопки, опоясанные темно-серыми тучами. Бараки, огороженные колючей проволокой. Уходящая вдаль и вверх узкая дорога и неисчислимы сопки...

Три дня на пересылке, в брезентовых палатках, мокрые от беспрерывного дождя. Работа — прокладка дороги в бухту Веселая. Погрузка на машины, шоссе вертится среди гор, поднимаясь все вверх, с каждым поворотом становится все холоднее, воздух становится все суше, и вот числа двадцатого августа нас привозят и сгружают на прииске «Партизан» Северного горного управления.

Почему же я помню, что рейс парохода «Кулу» в навигацию 1937 года был именно пятый.

А потому, что в течение пятнадцати лет мне приходилось вспоминать это на бесконечных переписях, которые назывались там «генеральными поверками». Потому что при переводе с места на место, с одного лагерного пункта на другой, всякий раз приходилось подвергаться одинаковому опросу.

Заключенного в лагере каждый божий день заставляют ответить на несколько вопросов.

Фамилия?

Имя, отчество?

Статья?

Срок?

Когда прибыл в Колыму?

Каким парходом?

Каким рейсом?

Последние три вопроса задаются на поверках. А первые — каждый день по нескольку раз.

Человек не любит вспоминать плохое. Вспоминается чаще хорошее. Это — один из мудрых законов жизни, элемент приспособления, что ли, сглаживания острых углов. «Если бы каждого встречали по заслугам — кто бы избавился от пощечины». Эти слова Гамлета — не шутка, не острота. Если бы человек не был в силах забывать — кто бы мог жить. Искусство жить — это искусство забывать.

Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях. И очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет. Дружба заводится в положениях «средней тяжести», когда мяса на костях человека еще достаточно. А последнее мясо кормит только два чувства: злобу или равнодушие.

Все, о чем я буду рассказывать, неизбежно будет сглажено, смягчено.

Время только искажает истинные масштабы события.

В Москве уже убивали: Тухачевского, Якира, Шмидта. Ежов выступал уже на сессии ЦИКа с угрожающим докладом о том, что в трудовых лагерях «ослабла дисциплина», в газетных статьях все чаще попадались фразы о «физическом уничтожении врага», о необходимости ликвидации троцкистов», а золотой прииск, куда мы приехали, еще жил прежней «счастливой» жизнью.

Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование. В сапожной мастерской стояла бочка рыбьего жира — откуда и черпали смазку. Прибывшим дали трехдневный отдых, знакомили с «производством» — забой, лопата, кайло, откаточный трап и тачка.

*«Машина ОСО —  
Две ручки, одно колесо».*

Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением.

Работа — открытый разрез, взрывы, ручная откатка в бункер, откуда увозят конные грабарки на бутару — промывочный прибор.

Тяжелая работа, зато можно заработать много — до десяти тысяч рублей в летний, сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода — свыше 50 — не работают. Летом работают десять часов с пересменкой раз в десять дней. Отдых «копится» и «выда-

ется» авансом — 1-го мая и «под расчет» — 7-го ноября. В декабре работают шесть, в январе четыре, в феврале шесть, в марте семь, в апреле — восемь, в мае и все лето — десять [часов].

— Будете хорошо работать, сможете посылать домой, — говорили новичкам «смотрители» во время экскурсии.

Пайков было три вида — стахановский, ударный и производственный. На стахановский давали кило хлеба, хороший приварок. При выполнении 110% нормы давался ударный паек, за 100% и ниже — производственный — восемьсот граммов хлеба, меньшее количество блюд.

Медицинский осмотр разделил всех на четыре категории.

Четвертая — здоровые.

Третья — не вполне здоровые, но те, которые могут работать на любой физической работе.

Вторая — ЛФТ<sup>1</sup>.

Первая — инвалиды.

Заключенный, имеющий вторую группу, имел право на скидку в 30%. Поэтому появились «стахановцы болезни», которые работали на подсобных работах и получали скидку при определении пайка.

Самой невыгодной была третья группа — обычно группа людей интеллигентного труда.

Таковы были Берзинские порядки, которые еще существовали, когда наш этап прибыл на «Партизан»<sup>2</sup>.

Уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи.

Все это везли на Колыму фельдегеря всед за нами.

Дисциплина была такая, что волос у заключенного не упадет, если не прикажет Москва. Москва все знает и решает судьбу каждого из миллионов заключенных.

Решение в центре принято и идет «по инстанции» вниз, на периферию.

Что здесь действует — цепная реакция или закон трения? Ни то, ни другое. Все боятся, все выполняют приказы сверху. Все стараются их исполнить. И об исполнении донести.

Конечно, жизнь и смерть тут более реальные. Щупленький журналист пишет в Москве громовую статью о ликвидации врагов,

---

<sup>1</sup>ЛФТ — легкий физический труд.

<sup>2</sup>С августа 1937 г. по декабрь 1938 г. Шаламов работал в забоях золотого прииска «Партизан».

а на Колыме блатарь берет лом и убивает старика-«троцкиста». И считается «другом народа».

Посреди прииска стояла палатка, которую всякому новичку показывали с особенным уважением. Здесь жили 75 заключенных «троцкистов», отказавшихся от работы. В августе они получали производственный паек. В ноябре они были расстреляны.

## ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Я могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал усилия, боясь успеха. Успех — бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою жизнь, скажем, 38-й год на Колыме.

Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое, не самое большое, а как бы не нужное тогдашней жизни. В 38-ом году не было внезапного погружения в нищету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повсечасно, ежедневно и еженощно.

Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь активировали только в мороз свыше 55 градусов. Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это самое страшное. Я как-то отморозил живот — ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не бежал, на Колыме никто не бежит — все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня в столовой вырвали кисет с махоркой. Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и побежал. Мальчик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове — и выброшен на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то человеческие чувства — месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.

Помню я также, как ползу за грузовиком, цистерной, в которой подсолнечное масло, и не могу пробить ломом цистерну — сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим на

снегу, глотая прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатары в котелки, в банки, пока грузовик не уехал. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу. Я чувствую, что я хую, хую, прямо сохну день ото дня — пищи не хватает, все время хочется есть.

Голод — вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.

Третья сила — отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то колья, кайлю отморозенными руками без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед и два часа на ужин. Сколько же осталось для сна — четыре часа? Я сплю, притыкаюсь, где придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.

Побои — четвертая сила. Доходягу бьют все: конвой, нарядчик, бригадир, блатарь, командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходягой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой работе, на пятидесятиградусном морозе.

Что тут выбросит память?

То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодолимыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние доходяги.

Более помню другое — не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек ведь не выдают по росту.

Но и это все — тоже общее, понятое уже после, во время перерывов<sup>1</sup>, а то и тогда, когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть. Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собирается мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги, но не выпускаю из рук пропуска в барак — «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И — вхожу в чужой барак, меня, конечно, не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый,

<sup>1</sup>Т. е. во время лежания в больнице.

где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и расстреляны.

Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных. Списки длинные. Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смертельные рукопожатия полковника Гаранина.

И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».

Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отмороженных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.

Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесть человек в упряжку. Отказ от работы — стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня не заставили. Не потому, что я герой, а потому что хватило сил на упрямство, на борьбу за справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили в сотый раз ехать за дровами — два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели нас в барак, тем дело и кончилось.

Но и это — не то, что я ищу в своей памяти, я ищу объяснения, как я стал доходягой. Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?

Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сегодняшнего дня.

Что еще? Одиночество — понятно, что ты прокаженный, ощущаешь, что все тебя боятся, так как каждый чувствует — из КРТА, из литерников. Мы не распоряжаемся своей судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую — захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в бане не разгибаю — вот это ощущение помню. Как машу кайлом, машу лопатой без конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в доходягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть ухватка и терпение. Нет только самого главного, самого ценного в колымских «кадрах» — физической силы. Это я обнаруживаю не сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда не вернулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.

Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла не убьль. Подготовка началась с этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток, да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем — рытье канав по дороге в бухту Веселая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилю, упаду и умру. И все же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое искусство — все мускулы должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, с ручной откаткой за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.

Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального ежесуточного отдыха. Такая баня — не шутка.

[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее.

Родственники твердили — намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать? Покончить с собой — бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.

А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил шишку и все. Все умирают, а я все хожу и хожу.

Арест в декабре 1938 года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на следствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО<sup>1</sup> капитана Стеблова и вышел на транзитку<sup>2</sup> и новым глазом посмотрел на лагерный мир.

Что помнит тело?

---

<sup>1</sup> СПО — секретно-политический отдел.

<sup>2</sup> В декабре 1938 г. Шаламов был арестован по «делу юристов». Сидел в магаданской тюрьме. Дело сфальсифицировать не удалось. Был выпущен из тюрьмы и отправлен в магаданский пересыльный лагерь, в тифозный карантин, где находился до апреля 1939 г. Это описано им в рассказах «Дело юристов» и «Тифозный карантин».

Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают теплые места. Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким ненужным со всеми его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоём теле. Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голених, бедрах. В Магадане в 1939 году от меня шарахались в сторону в бане — кровь и гной текли из моих незаживающих ран. Расчески на животе, на груди, расчески от вшей.

Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмоций, кроме оценки — сколько сигарок махорочных выйdet из этого газетного клочка. Никакого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, уже около года, не читали газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе ненужной, как и в 38-ом году. Ногти я обкусывал всегда, обламывал, отщеплял — ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны, язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух — зав. амбулаторией «Партизана» славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был арестован и погиб на Серпантинке. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен, товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же — смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше, или уже был не в силах двигаться, спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.

Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов — надо катать короба с грунтом, снимать торфа с золотого слоя — работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы все ноют. В хорошие бригады меня не берут.

Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный — остальные члены бригады в могиле или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир — это убийца, тот самый убийца, который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-ой, прокурор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль

забая, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.

— Нет, — ответил я, — на галерах.

Все это, разумеется, где-то фиксировалось, куда-то сносилось, чтобы внезапно вспыхнуть «заговором юристов». И это относится к 38-му году, к самому декабрю.

Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания — вроде, весна 38-го года... Весна на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го года не было еще и изолятора зоны, был только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки.

— Не хотят.

Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только...

— Замолчи, сволочь...

Комендант подошел ко мне поближе и протянул... Он не ударил, не выстрелил, только ткнул — и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.

— Вон отсюда.

Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы — это сказки, и берегся, как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето пилить дрова или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у нас сил не было, имели значение для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.

...Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу. Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь — это торжество физической силы как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасностью. Иван Иванович<sup>1</sup> никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, врагом, спасая свою судьбу. Это — крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже интеллигента. Умири ты сегодня, а я завтра. Благари — вне закона морали. Их сила — растление, но и до них доберутся, и до них доберется Гаранин. Блатной — берзинский любимчик — отказчик для Гаранина. Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг, лично

<sup>1</sup> В лагерях Иванами Ивановичами называли интеллигентов.

свой шаг, когда сделана уступка какая-то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-то нет. Процесс этот очень короткий по времени — ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский мороз, не знающий пощады.

Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, короток или длинен последний твой шаг в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде — ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосущий голод. А тот твой товарищ, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над судьбой еще живого человека.

Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, — значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались одинаково — с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе — падать, при пинке — сжиматься в комок, беречь живот больше лица.

Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.

— Это вы, Иван Иванович, нас загубили, это вы — причина всех наших арестов.

Все — чтобы толкнуть в могилу соседа — словом, палкой, плечом, доносом.

В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы слушал их крики среди злобных осатаневших лиц — не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги удержался хоть кусочек мяса, обрывок нерва — он тратил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, — пусть интеллигент идет раньше в могилу.

Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель — французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, — на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.

Дерфель:

— В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там не так холодно.

А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал, и умер.

В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то — стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя уже, упал у барака, и больше его я никогда не видел.

Все это — Дерфель, голландец Фриц — все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало, заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, — я просто не припомню.

Что же там было?

Никакой «вины» перед народом я не чувствовал. [Нрзб]. Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья — и не ошибусь.

Все это — и Дерфель, и задержка на работе бригады Ключева в декабре 1937 года — все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, — боль тела и только тела.

У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно неважно, вытеснено надолго — на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.

Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?

Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вещам — побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.

Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздуть его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал — был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ощущал, пожалуй, две вещи. Полную бессмысленность человеческой жизни. Что смерть была бы счастье-

ем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам — боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин, и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Доктор, и Ямпольский — с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов — начальник прииска, Коваленко — начальник ОЛПа<sup>1</sup>, Романов — уполномоченный.

Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный, приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а, может быть, и им было все равно. У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого каждый стремился ткнуть, ударить: крестьянин — чтобы обратить внимание начальства на свою политическую преданность советской власти, блатарь...

Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937 года меня уже толкали и били...

Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипятить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал — кто-то уже прополз раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти куски мерзлыми.

В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на этом первом участке — в бригаду Зуева. Здесь Зуев — крестьянский паренек лет 30 — интересовался грамотными людьми, которые могут ему написать жалобу, да так, что все прокурорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок за взятки — но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:

— Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.

---

<sup>1</sup>ОЛП — отдельный лагерный пункт.

— Хорошо, — сказал я. — Давай бумагу, завтра начнем.

Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться мозгу, я сочинил эту жалобу.

На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо, прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал, что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.

На следующий день вместо продолжения работы над жалобой было избивание адвоката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плюху я помню хорошо. Уж слишком легко я упал — все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы, мне почему-то не было больно.

Кампания физического истребления врагов народа началась на Колыме, и Зуев поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступление перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь в декабре 1938 года, когда меня арестовали на прииске и привезли в Ягодное к начальнику местного НКВД товарищу Смертину.

— Юрист?

— Юрист, гражданин начальник.

— Писал жалобы?

— Писал.

— За хлеб?

— И за хлеб, и так.

— В тюрьму его.

Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1938 года.

Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пила дров за юшку или корку хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело, вся моя личность, в мобилизации всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось — то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки, я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев — это все уже на «верхних» этажах человеческой воли.

Работал я плохо с самого первого дня. И тогда, и сейчас считаю физическую работу проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением человека.

Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные премии.

Сражение вчистую — кто устоит на ногах, кто умрет — знать каждому было дано, именно дано.

Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением. Поэтому и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир — это убийца, тот человек, та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.

Вот этот скопленный за 38-й год опыт был опытом органическим, вроде безусловного рефлекса. Арестант на предложение «давай» отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое, и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов, философов и экономистов, без историков.

Иногда всколыхнется какое-то чувство: как быстро я ослабел. Но ведь так же ослабели и мои товарищи вокруг, у меня не было с кем сравнивать. Я помню, что меня куда-то ведут, выводят, толкают, бьют прикладом, сапогом, я ползу куда-то, бреду, толкаясь в такой же толпе обмороженных, голодных оборванцев. Это зима и весна 1938 года. С весны 1938 года по всей Колыме, особенно на севере, в «Партизане», шли расстрелы.

Какая-то паническая боязнь оказать нам какую-то помощь, бросить корку хлеба.

Даже и сейчас пишут тома воспоминаний — я расстреливал и уничтожал тех, кто соприкасался с дыханием смертного ветра, уничтожавшего по приказу Сталина троцкистов, которые не были троцкистами, а были только антисталинистами, да и антисталинистами не были — Тухачевский, Крыленко. У самих-то троцкистов ведь не было никакой вины.

Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо. Вот до какой степени Сталин боялся. Чего он боялся? Утраты власти — только.

## **БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ**

### **[История архива]**

В 49-ом году на ключе Дусканья вытолкнулось на [перо] нечто неукротимое, как смертельная рвота... Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на оберточной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке получал бумагу по норме, экономил

ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке, один, стало быть, скрыт — постыдные тайны стихотворения не откроются никогда.

Один — в этом вся надежда, если [пойдет] удача.

Двое — это сто процентов риска.

Родилась же в 37-ом году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при утреннем бритье — один из нас предатель».

У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, — твое, все, что вышло, — может, твое, а может быть, и нет.

Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Художника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».

На Колыме стихи не уничтожали, не жгли как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овестить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.

В 49-ом году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи, даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].

Лагерь и стихи?

Разобраться, на первый взгляд, было невозможно. Но тетрадка взрослела, толстела...

В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как сохранить свои стихи. Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца, года — в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое либеральное — это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймьякона в 1950 году.

Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.

— Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память — не такой инструмент, чтобы что-то надежно хранить. Ну, 20, 30 стихотворений можешь выучить, поверь моему актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя. Подготовь к отъезду, вручи Воронской<sup>1</sup> ... Имя отца, традиция — дело верное. Тем более, кто возьмет, прочтет: «Камея».

Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда — и стал записывать все стихи в две тетради с надеждой один экземп-

---

<sup>1</sup>Воронская Галина Александровна, дочь А. К. Воронского.

ляр вручить Мамучашвили — даме последней Траута, а второй — Воронской.

И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но еще и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.

— Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь!!!

Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].

— Да вы посмотрите, это стихи.

— Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня — дочь!

Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь и, конечно, не на природе, не на улице — где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается, жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.

Я провозился целую ночь. Вспоминаю два известных мне примера из классики, писателей-реалистов. Один — это Достоевский. Брошенные в печь на огонь деньги, миллион. Миллион ассигнациями или кредитными билетами, напечатанными на бумаге высших достоинств, на гербовой знаковой. Там пачка тлела в камине «Идиота», дезкамеры Достоевского, не менее часу, а то и больше, если их не помешивали кочергой. Кредитные билеты — бессмертны, и Настасья Филипповна ничем не рисковала, доводя до припадка бедного Ганечку. Кредитный билет в таком камине можно жечь час, да еще помешивать кочергой. Я подумал об этой сцене, поворачивая, измельчая в кусочки, мелкие крошки все, что было на дне дезкамеры.

Вспомнил я и другую сцену — Некрасова из «Русских женщин»: камин затопили и одни читали и бросали, другие бросали, не читая.

В дезкамеру было опасно бросить что-либо, не читая. И ясно, что огонь просто не берет моих стихов, пока сам я по кусочку не верну в огонь листки.

Пришлось поехать с тетрадкой, где было записано открыто два-три стиха. Это, хоть и посмотрят, не вызовет подозрения.

Главная же опасность была не в том, что я проведу или не проведу стихи, а в том, что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от

собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое-что, если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск.

Отец мой был человек тщеславный — церковный службист прогрессивного направления<sup>1</sup>. В огромном дорожном чемодане заграничной марки хранился его архив. Там не было никаких тайных рукописей, был только ход наверх, отраженный чисто должностными копиями. Фотопортреты портативные, не похожие, но на это отец плевал — для показа гостям многочисленные фото, фото — портативный, удобный документ, [приятный] гостям.

— Вот я на пароходе на Аляске, вот я в богадельне Алеутских островов. Вот я с ружьем, целью в какую-то чайку...

По тайным правилам своим отец разрешал себе рыбную ловлю и запрещал охоту.

Никогда на эти фото я не мог смотреть [потом] без истерики, только в группе, только в куче родственников.

Заглядывал я в этот архив случайно и по просьбе матери. И не потому, что я не интересовался архивом.

Каждый раз на протяжении многих лет и до самой смерти моих родителей я не успевал даже подумать [о них], как слезы подступали к гортани, и я плакал<sup>2</sup>.

Вторая причина. Мать не один раз говорила, уже после смерти отца: «Оставь все, что, может быть, будет нужно».

Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит — уничтожить. Эта причина — общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой бумаге. Как решить, что сжечь и что оставить. Смелость архивиста или юриста... Сам уклонился от такого решения. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем более. Словом, с отцовским архивом я сознательно тянул, как делают все, когда хотят уклониться от решения.

Наконец, был и еще один юридический вопрос. Я все откладывал да откладывал разборку этих семейных бумаг. Мне хотелось

---

<sup>1</sup>Тихон Николаевич Шаламов (1868—1933), вологодский священник. С 1893 по 1904 год служил в Североамериканской епархии на о. Кадык (Алеутские острова).

<sup>2</sup>Родители Шаламова после того, как дети разъехались, в течение почти десяти лет, до самой смерти, оставались в Вологде совсем одинокими и беспомощными.

взглянуть на эту драму со стороны и на некотором расстоянии по времени. Но выяснилось, что я все для смерти оставляю.

Я трусил, оставляя и эту попытку. Чего я хотел (кроме хладнокровия)? Чтобы кто-то другой решил за меня? Нет, не потому я не разобрал архива. Вся моя писательская привычка требует, чтобы я держал в руках, видел предмет, когда я пишу. Пусть это будет какое-нибудь пальто, лоскут. Я знаю, что перо мое будет пущено в ход. А в архиве, там, правда, была косынка матери, рабочее пальто отца для кормления коз.

Много раз подходил я к чемодану-архиву и возвращался из-за подступавших слез, но думал, что наступит день и час, когда я смогу открыть крышку, [нрзб] и я напишу о страшной трагедии матери своей.

— Твой отцовский архив Маша<sup>1</sup> сожгла, посмотрела, что там есть, — не нашла ничего важного и сожгла...

Этот разговор был в Москве в 1953 году во время одного из моих приездов в столицу из Туркмена (есть такой в Калининской области).

Ну, что тут сказать? Была война. Эвакуация. Я сам на Колыме не написал ни одной строки. Это сейчас кажется, что архив мог быть сохранен, а в 1941 году вряд ли и сам я принял бы другое решение. Мне в архиве нужна была мать. Семья уничтожила и мой архив, вместе с архивом моего отца сожгла — перед отъездом из Москвы во время эвакуации. Я не нашел в себе силы для обиды.

В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете, родная моя сестра<sup>2</sup> сожгла все до последней бумаги, письма — Асеева, Третьякова... Все просто потому, что я некоторое время был там, у нее, прописан.

Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники.

Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил... Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохранилось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли.

Даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру генерала де Голяя.

---

<sup>1</sup> Мария Игнатьевна Гудзь, сестра жены Шаламова.

<sup>2</sup> Галина Тихоновна Сорохтина.

Но для этого нужна была опора пошире и покрепче, чем моя семья тогдашняя, которая в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня в яму, она гибнет и сама<sup>1</sup>. И действительно, уже в июле 1937 года мою жену выслали на десять лет в Чарджоу, и только после войны, энергично освобождаясь от формальных оков прошлого, она вернулась в Москву, ради, разумеется, будущего дочери. Больше фальши, чем забота о будущем, в человеческом поведении нет. Каждый знает, что тут сто процентов ошибок.

---

<sup>1</sup> По настоянию родственников жены Шаламова Г. И. Гудзь он написал в 1936 г. заявление в НКВД с отречением от «троцкизма». Особенно категорически требовал этого брат жены. Родственники считали, что это заявление спасет их от репрессий.

## ПИСЬМА А. СОЛЖЕНИЦЫНУ

*В. Шаламов и А. Солженицын познакомились в редакции «Нового мира» в 1962 году. Все сближало их — и лагерная судьба, и глубокое понимание причин тотального насилия, и яростная непримиримость к нему.*

*Солженицын тогда жил в Рязани, часто наезжал в Москву, они встречались, переписывались. Переписка охватывает 1962—1966 годы. Шаламов был более открыт в этой переписке: его письма — это воспоминания о Колыме, и символ веры, и глубокий анализ прозы Солженицына, и эссе о лагерной прозе вообще. Иногда черновик письма переходил в запись впечатлений от беседы с Солженицыным, словно продолжая ее и находя новые аргументы.*

*Солженицын в письмах более сдержан и по-деловому краток, но всегда внимателен к немногим успехам Шаламова (книжке, публикации) и высоко оценивает его стихи и прозу: «...И я твердо верю, что мы доживем до дня, когда и «Колымская тетрадь», и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я твердо в это верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».*

*Этот день пришел. И, думается, сейчас, когда литература о лагерях так обширна, настало время выслушать суждения Варлама Шаламова о ней.*

*После моего обращения к А. Солженицыну с просьбой разрешить опубликовать его переписку с В. Шаламовым Александр Исаевич попросил прислать ему копии писем и затем ответил таким письмом от 17.1.90 года:*

*«Уважаемая Ирина Павловна! На печатание писем Шаламова ко мне Вам тоже требуется разрешение, и я Вам его даю. Они представляют и общественный интерес.*

*Напротив, имеющиеся у Вас мои письма к нему (у Вас комплект их не полный, не все тут) такого интереса не представляют. К тому же я не хочу поощрять начавшуюся лавину печатания моих писем, обычно без спроса. Моих писем к В. Т. печатать не разрешаю.*

*Всего доброго. А. СОЛЖЕНИЦЫН».*

Публикация писем и записей В. Шаламова подготовлена по черновикам, сохранившимся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 95).\*

*И. СИРОТИНСКАЯ*

---

\* Печатается по тексту ж. «Знамя», № 7, 1990 г. с. 62—89.

Я две ночи не спал — читал повесть<sup>1</sup>, перечитывал, вспоминал...

Повесть — как стихи, — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед — все, что идет с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесет только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней — ее ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20—30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» — «Да, одиннадцатый». — «Это где повесть о лагерях?» — «Да, да!» — «А где Вы взяли, где купили?»

Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди), ибо лагерь — школа отрицательная, даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть, не смогут оценить эту повесть во всей ее глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это — лагерь с точки зрения лагерного «работяги», который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это — не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом.

В повести все достоверно. Это лагерь «легкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это

тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срока, пока его не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь вольнонаемные надзиратели (надзиратель на Ижме — бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари, и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот — тоже невероятно для настоящего лагеря, — кот давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать и показать очень сильно сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы — это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере.

Есть еще одно крупнейшее достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем, — и в интересе к «красилям»<sup>2</sup>, и в любознательности, и природно цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать. Умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — все это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он — крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом. Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи: когда глотает кружок колбасы — высшее блаженство, а и более глубоких вещей, и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой, и т. д. Это — глубоко

верно. Это — одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу — так выживу, а нет — не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести — сотни — других, не новых, не точных вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли невысказаны без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и — необходимо. Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноправное место, и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.

Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алешку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу — сумме многолетних, многочисленных наблюдений, — что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу сохраняли и сохранили неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.

В Вашем лагере хорошие люди — эстонцы. Правда, они еще горя не видели — у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским, — там все народ крупный, рослый, а паек ведь одинаковый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да еще потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека, — эта мерзость встречается всегда.

Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то неоднократно), ибо хуже того, чтобы приказывать другим работать, хуже такой должности, в моем понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов — не только голодных, бессильных стариков-инвалидов, а всяких — ибо для того, чтобы дойти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесяти-шестидесятиградусном морозе, надо очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести все, что придется. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг — нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провел от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на сигарку и закурил.

Но это — личное мнение мое. Таких бригадиров, как изображенный Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же — в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов, — все верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал. Но об этом — после.

В начале Вашей повести сказано: закон — тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто

ходит к «куму». В сущности об этом — и написана вся повесть. Но это — бригадирская мораль. Опытный бригадир Куземин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог ее сказать). Что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларек и т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живешь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держишься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так — тяжелую работу плохо, а легкую, посильную — хорошо. Конечно, когда ты доплыл, и о качестве легкой работы не может быть и речи, но закон верен, спасителен.

Каким-то концом эта новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали — но только они могли [спасти] и спасали людей.

Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере, — это приказывать другим работать. Бригадир — это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.

Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьет кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще это наблюдение, что в лагерях бьют лишь людей ослабевших, очень верно и в повести показано хорошо.

Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадир и помбригадиру размяться — в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе — всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа еще не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга, эта детскость души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), — все это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты — не хранители законов, а просто более опытные. Тяжелый труд делают новички — Алешка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а

бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригады и отбывают несколько сроков.

В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене — у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг — фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец, он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не подумает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы — такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или 1938 — для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу — две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков — бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.

В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырнадцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы — такая работа — это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники — рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безно-

гих, слепых, стариков — без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусник в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939 — 1947 — 52°, а после 1947 года — 46°. Все эти мои замечания, ясно дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные — страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.

Вернемся к повести. Повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, пережитого, — первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста<sup>3</sup> или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патриотических разговоров о войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря — и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги и внутренней ее жизни определялась, в конечном счете, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина, — неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатари — не люди.

В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.

Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы.

Блатарей в Вашем лагере нет!

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.

Кот!

Махорку меряют стаканом!

Не таскают к следователю.

Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.

Не бьют.

Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле.

Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона к осени, оставались только бригадир и дневальный, а все остальные за это время ушли или «под сопку», или в больницу, или в другие, еще работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года, — списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев бригадира, конвоира, нарядчика, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.

Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчет бесконечный — все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало, — верна, точна. Кстати, во время войны, когда шел белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трехсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.

Именно КЭ-460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется: зэка, зэкою. Невыжатая тряпка, которую Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне — чужеродная для Шухова мысль. Здесь автор показывает себя как писателя, чуть отступая от шуховской маски.

[У лагерника] обеднен язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

И еще один вопрос, очень важный, решен Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, крепче!

Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал — толк был один и тот же. Дали срок и так. Притом на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел.

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое нежадный Шухов отдает Алешке. — Мы — заработаем. Он — удачлив. На!..

Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагать в ногу с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас — разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, — очень верна.

Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.

Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после, — их было много. Характер очень правдив, очень важен.

Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что время все равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра, — посмотрим.

О двух потах в горячей работе — очень хорошо.

О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путем. Умирили в лагере не от этого.

Бранящиеся старики-парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — все это великолепно.

Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчеркивает, что там, где живет Шухов, еще нет голода, еще можно жить. Шепот! «Продстол

передернули». И «у кого-то вечером отрежут». Взятки — очень все верно.

Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши — брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел, уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве наращивают заплаты.

Термометр! Все это прекрасно!

В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестерок». Работу по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжелой работы в забое подчас до утра. Обслуга человека — над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.

В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключенных махоркой через дневального зэка по пяти рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.

— Дверь притягивай!

Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза — все это верно, важно. Только рыбу едят с костями — это закон. Это черпак, который дороже всей жизни прошлой, настоящей и будущей, — все это выстрадано, пережито и выражено энергично и точно.

Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это — всеобщий гипнотический закон.

В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой. Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдет и двух недель, как вы это поймете и станете делать точно так же». Так и случилось.

Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков, — мечта всякого зэка. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о железный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз и т. д.).

Минута перед разводом — очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавали на руки, всегда в чаю.

Вообще весь Шухов, в каждой сцене очень хорош, очень правдив.

Цезарь Маркович — вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернется на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.

«Шмон» утренний и вечерний — великолепен.

Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперед. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту, — подлецы.

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады, одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!

Традиционное предупреждение Конвоя, которое всякий ээка выучил наизусть, называлось у [нас]: «шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде. Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчет «красилей» — ярче картины не бывало.

Все в повести этой верно, все правда.

Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту — не надо видеть. Но уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.

Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.

Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.

В 1958 году(!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что он врет, что он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» и похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.

Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем — ни с докладами, ни с письмами.

Еще раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.

Ваш В. Шаламов.

Со своей стороны, я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.

Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами<sup>4</sup>. Соппротивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.

[ноябрь 1962]

В. Ш.

### [Запись В. Т. Шаламова]

30 мая после получения письма<sup>5</sup> дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.

2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».

«Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество.

Пьеса «Олень и шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере»<sup>6</sup>.

Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два — одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое — горячее, в защиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный суд. В Верховном суде несколько месяцев назад я выступал. Это — единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный суд включил меня в какое-то общество по наблюдению жизни в лагерях, но я отказался. Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре».

## [Запись В. Т. Шаламова]

А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас — в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная Поляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной<sup>7</sup>. Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то что это «начало правды», большой творческий успех. Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.

«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как и писатели!

— Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет (четыре года благополучной жизни).

Сообщил свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.

Разговор о Чехове. Я: — Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» — все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать, только не отрываясь, а безотрывно можно написать только рассказ, а не роман.

Солженицын: — Причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста, — Достоевский, Толстой.

Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер-Михайлов легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.

Солженицын: — Стихи, которые я привозил печатать («Невеселая повесть в стихах»), — это доведенные до кондиции выборки из большой поэмы, там есть хорошие, как мне кажется, места.

Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.

14 августа 1963 года.

Дорогой Александр Исаевич.

Все хотелось дождаться выхода седьмого номера «Нового мира» с рассказом, взглянуть на него уже другими глазами. Ведь рукопись — одно, машинописный текст — другое, журнальный текст — третье, а книга — четвертое. В переиздании, «Избранных» опять текст выглядит всегда по-своему.

Восторг мой по поводу «Для пользы дела» усилился. Название рассказа уж очень точно, исчерпывающее; лучше, значительней, удачней, тоньше, важнее назвать нельзя.

Потеря в образе Хабалыгина ощутима, там зажевано важное размышление Грачикова насчет Хабалыгина и очень важный абзац (он весь остался — о коммунистах, которых надо гнать из партии), но как-то повис в воздухе, он был раньше укреплен гораздо лучше. Больших потерь, по-моему, нет, да и для читателя это — не потеря. Во всяком случае, было лучше.

«Для пользы дела», как я уже Вам говорил, — очень тонкая работа, по существу, своеобразное отражение вовсе других, неравнозначных событий, авторский ответ на вопросы, которые вовсе не исчерпываются содержанием рассказа.

Главное в рассказе — это глубоко педагогическая мысль, что ложь перед молодежью трижды большее преступление, о том, что энтузиазм, конечно, еще будет, и еще раз, но... Все это ведь осталось, пострадал только Хабалыгин и суждение насчет «внутреннего капитализма».

Я лежал и с удовольствием вчитывался в пейзаж — в эти белые, быстро летящие облака, в собравшийся дождь, в то, что хоть немного продуло и освежило.

В первом чтении, где сочленения Кнорозова описаны очень хорошо, и левая рука, поддерживающая правую, у Федора Михеевича тоже хороша, я упустил бухгалтершу, которая закусил губу и — вышла.

Поздравляю Вас от всего сердца.

Вчера проделал опыт на том же отрезке улицы, который в ноябре я проходил с одиннадцатым номером «Нового мира», с «Одним днем Ивана Денисовича», когда меня остановили четыре человека: «Вышел журнал? Вышел? Вышел? С этой повестью? Да? Где Вы взяли?» Нынче прошел тот же путь, держа в руках стеклян-

ную банку с топленным маслом. Спросили «Где взяли?» только два человека. Мораль: не хлебом единым жив будет человек.

Как Ваша поездка с Натальей Алексеевной на велосипедах? Дороги? Как южные планы? Жду Вас в Москве. Желаю здоровья, силы, Наталье Алексеевне лучший мой привет. Ольга Сергеевна<sup>8</sup> приветствует обоих.

Ваш В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич.

28 августа я сдал новую книжку стихов в «Советском писателе». Не то что она сдана в производство (до этого еще далеко), но рукопись включена в план (сентябрь) и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще — два чтеца, кроме Главлита. Экземпляр рукописи «Шелеста листьев» (так называется книжка) я берегу для Вас и Натальи Алексеевны и передам, когда увижу Наталью Алексеевну. Многое Вы знаете, кое-что есть новое. Как и «Огниво», «Шелест листьев» больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это — не тот сборник, который мне хотелось бы иметь.

Книжка пройдет почти все этапы до 10 сентября, вероятно.

Я думал взять с собой в Рязань «воровской материал»<sup>9</sup>, кроме чистой бумаги, как мнение Ваше? Благодарю за приглашение на дачу, я обязательно при всех обстоятельствах приеду. Сердечный мой привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна приветствует Вас обоих.

Ваш В. Шаламов.

Взять «Бутырская тюрьма»<sup>10</sup>, «Подполковник медицинской службы»<sup>11</sup>.

Дорогой Александр Исаевич.

Наталья Алексеевна была у меня, любезный ее разговор я никогда не забуду, и мы сговорились, что я приеду не 9-го, а 11-го. Эта отсрочка... вызвана желанием моим ускорить сдачу книжки. Двухлетнее движение подошло к концу (к концу ли), и книжка включена в план сентября. Раньше ее хотели включить в октябрь, а я просил во второй квартал, и ее передвинули на сентябрь (это было еще до получения Вашего письма). Я рассчитывал твердо сдать книжку (и сдал) в августе. Но рассчитать сроки редакционного чтения очень

трудно, и получилось так, что консультант издательства (главная фигура на моем пути) возьмет книгу только 9-го числа (вместо предполагавшегося 1-го). Я просил его прочесть в один-два дня.

Я мог бы бросить любые [нрзб] дела и приехать 9-го, ибо эта встреча мне бесконечно важна, но оставить сдачу книжки я не могу.

Так что я приеду не 9-го и не 10-го, как мы сговорились с Натальей Алексеевной, я пришлю телеграмму. Но, может быть, это будет более позднее число, чем 10-е и 11-е.

Теперь о самом сборнике. Помните, при нашей первой встрече в «Новом мире» Вы говорили, что вот теперь пора выпустить хороший сборник. Такой сборник и сейчас выпустить невозможно. Все колымские стихи сняты по требованию редактора. Все остальное, за исключением двух-трех стихотворений, получило пригладку, урезку. Редакторы-лесорубы превращают дремучую тайгу в обыкновенное редколесье, чтоб высшему (поли-тическое, выступающее под флагом поэ-тического) начальству легко было превратить труды своих сотрудников в респектабельный парк. Еще одну-две статуи захотят в парк поставить. Я пишу все это Вам затем, чтобы Вы прониклись моим настроением. Ведь эти несколько дней решают почти все для книжки. В «почти» входит Главлит и некоторые форс-мажоры. Но там я бессилен, а сейчас хоть и в арьергарде боя, но сражаюсь за каждую строку.

Желаю Вам и Наталье Алексеевне всего самого, самого лучшего.

Я приеду сейчас же, как определится решение и мое присутствие не будет необходимым. Я мог бы приехать 9-го с тем, чтобы уехать 15-го. Но ведь такой визит хуже, да и беспокойным он будет. Поэтому простите меня за эту вынужденную задержку. Я уже все собрал — вещи, придумал, что взять с собой для работы.

Сердечно Ваш В. Шаламов.

Сердечный привет.

### [Вариант]

На фельдшерских курсах, где я учился, был преподаватель «внутренних болезней» Малинский. Он все там твердил: «Самое главное в вашей будущей практике — научиться верить больному. Не будет в вас этой веры, медицинский работник из вас не выйдет».

Историю эту припоминаю я сейчас вот по какому [поводу]. Никто в семье (в том числе, не исключая и самых близких) не понимает, насколько тяжело (или трудно) и как именно я болен.

После вчерашней подробной и сердечной беседы с Натальей Алексеевной я все же вынужден отказаться от приглашения и к Вам не поеду. И вот почему.

Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней, потребуется, вероятно, и присутствие врача и т. д., а лежать двое-трое суток придется.

Второе. Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного.

Третье, наконец — увы, холода. А поддерживать печи в избе я совершенно не способен.

Вот все мои очень человеческие доводы против поездки. Не ищите ничего другого, что бы было за этим отказом (как сделал бы Теуш<sup>12</sup> или Твардовский). Мне очень хотелось поехать. Я уже собираться начал (собрал воровской материал), да и беседы с Вами мне очень интересны, — но, увы, — я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня. Может быть, в будущем году, когда у вас будет более просторная квартира в Рязани.

Желаю Вам успеха, рабочего настроения, пишите.

Ваш В. Шаламов.

Москва, 28 декабря 1963 года.

Дорогая Наталья Алексеевна и Александр Исаевич.

Ольга Сергеевна, Сережа<sup>13</sup> и я от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Новый год — единственная дата, которую я отмечаю.

Желаю Александру Исаевичу успеха и удачи в сложном пасьянсе, который раскладывает Комитет по Ленинским премиям. Кажется бы, какие могут быть сомнения, и все же. Книжку мою, как только выйдет, я сейчас же пришлю. Это — крошечная книжка.

Желаю вам обоим душевного мира, здоровья и покоя, благодаря за доброе слово. Из хорошего, настоящего прочел за это время «Джан» Платонова.

Ольга Сергеевна сейчас в Голицине, так называемом Доме творчества. Это — очень хороший дом.

Ваш В. Шаламов.

21 января 1964 года<sup>14</sup>.

Дорогой Александр Исаевич.

Теснимые сверху московские литераторы превратятся в эстеров, прославив Платонова, как Кафку, и будут его расхваливать на все возможные лады (не на всевозможные лады), эта тонкость тут необходима. Зачем? Затем, чтобы противопоставить Платонова Солженищину, которого москвичи не любят, не верят — во что? Под спудом тут: москвичи не хотят верить в возможность появления большого таланта где-то в Рязани и т. д. «Путь наверх» всех поголовно писателей наших, включая, конечно, и Федина, — это долгий многолетний путь продвижения со щепочки на щепочку, со ступеньки на ступеньку, взаимная поддержка не только литературная, это черепаший ход, во время которого черепахи учатся верить, что никаких других путей в литературу нет. Союз писателей — эта та, вовсе не символическая организационная форма, которая именно этому движению со щепочки на щепочку и соответствует.

Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженищину нарушает — а поэтому у него выискивают всяких блох, готовы принизить, обойти и т. д.

... Чуть-чуть самоуверен. Чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека. Вроде Вольфа Мессинга пользуется рукой собеседника — дергает произвольно, наверное, [это] что-то ему говорит. Из-за самоуверенности впадает в слепоту — недостаточно ясно понял и почувствовал причину моего отъезда из Рязани<sup>15</sup>. Но — пустяки все это.

Дорогой Александр Исаевич.

Вы, наверное, уже вернулись в Рязань. Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи. Комитет по Ленинским премиям не может, просто не может не назвать Вашу повесть. «Иван Денисович» лучшее, что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет.

Жму Вашу руку, верю в победу правды. Благодарю за внимательный разбор «Шелеста листьев». Конечно, названные Вами стихотворения (да еще «Ни зверя, ни птицы») самые важные в сборнике. Что касается «неприемлемых» и чересчур свободного обращения с явлениями природы, то ведь тут дело в том, что поэзия — это всеобщий язык и тем велика, что любое явление жизни,

науки, общества может «перевести» на свое, умножая тем самым свои дороги. Тут дело не в новых «реалиях», как часто любят выражаться, — а в желании и возможности освоить любой жизненный материал (кроме порнографии, что ли). Поэзия — это мир всеобщих соответствий, и именно поэтому развитие ее безгранично.

Поговорим при случае. Знаете, кто у меня был недавно? Варпаховский<sup>16</sup>. Я ведь как-то говорил, что знаю его по Колыме. Мы ехали в одном этапе в 1942 году в спецзону Джелгала — один из сталинских Освенцимов того времени. Меня туда довели, там и осудили через несколько месяцев. (На десять лет). Для этого, наверное, и везли. А Варпаховского отстояли на последней ночевке этапа его колымские друзья. И года через два после этого я с Варпаховским встречался. Сейчас он приехал ко мне за «Колымскими рассказами» — где-то услышал о них, и я ему дал читать. Я говорю: — Вы, Леонид Викторович, держали ведь в руках отличную пьесу — «Свеча на ветру» Солженицына.

— Я читал. Мне показалось похоже на Леонида Андреева. Вот где бы прочесть «Олень и шалашовка»? У Вас нет?

— Нет. А на Андреева походить плохо?

— Да. Сила Солженицына в его реализме. Не правда ли?

— Я, Леонид Викторович, не очень твердо вижу границы реализма в любом искусстве. Японский график нарисовал Хиросиму — реализм или нет?

И еще у меня есть для Вас разговор, но — для личной встречи.

Привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Ольга Сергеевна и Сережа шлют свой привет.

[май 1964 г.]

Дорогой Александр Исаевич.

Сердечно был рад получить Ваше письмо. Провокация с трибуны по Вашему адресу<sup>17</sup> настолько типичное явление растления сталинских времен и столько вызывает в памяти подобных же преступлений, безнаказанных, ненаказуемых, виденных во множестве в течение десятков лет, — так живо я их вспомнил с огромной душевной тяжестью. Будем надеяться, что с этим покончат все же.

О «Свече на ветру» у меня мнение особое. Это — не неудача Ваша. «Свеча на ветру» ставит и решает те же вопросы, что и в

других Ваших вещах, — но в особой манере, и эта особая манера — родилась не в андреевской тени.

Рассказы мои по Москве ходят, я слышал. Дело ведь в полной невозможности работать регулярно из-за головных болей и т. д. Конечно, я не оставляю и не оставляю работы этой. Но идет она плохо, туго. Очередная задача моя описать Джелгалу, всю Колымскую спецзону (один из сталинских Освенцимов), где я был несколько месяцев и где меня судили. Я недавно столкнулся с очень интересным фактом. Я пытался оформить десятилетний подземный стаж (чтобы с инвалидной уйти на возрастную пенсию), но мне сообщили из Магадана, что в горных управлениях (по их сведениям) я проработал 9 лет и 4 месяца, поэтому просьба о выдаче справки за 10 лет отклоняется<sup>18</sup>. Одновременно я узнал вот что. Оказывается, уничтожены все «дела» заключенных, все архивы лагерей, и никаких сведений о начальниках, следователях, конвоирах тех лет в Магадане найти нельзя. Нельзя найти ни одного из многих меморандумов, которыми было переполнено мое толстущее «дело». Операция по уничтожению документов произошла между 1953 и 1956 годом. Официально мне дали ответ: сведений о характере Вашей работы не сохранилось. Такая же история повторена и на Воркуте, так в двух самых крупных спецлагерях Сталина.

Приезжайте, жду Вас, в квартире у нас ремонт. Ольга Сергеевна и Сережа на даче, но иногда приезжают. Я же — все время дома, — могу только уйти в магазин.

Сердечный привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна [шлет] сердечный привет вам обоим.

Года два назад журнал «Знамя» предложил мне написать воспоминания «Двадцатые годы», Москва 20-х годов. Я написал пять листов за неделю. Тема — великолепна, ибо в двадцатых годах зарождение всех благоденствий и всех преступлений будущего. Но я брал чисто литературный аспект. Печатать эту вещь не стали, и рукопись лежит в журнале по сей день<sup>19</sup>.

[май 1964 г.]

1 ноября 1964 года.

Дорогой Александр Исаевич.

В Вашем письме об «Анне Ивановне»<sup>20</sup> есть одна фраза, одно замечание, которое я оставил на потом, чтобы подробнее Вам ответить.

Вы написали, что лучше бы у героя «Анны Ивановны» вместо тетради стихов было бы что-нибудь другое. Тетрадку сделать чем-то вроде чертежей Кибальчича было бы очень легко. Но нужно совсем не это. Мне кажется, что традиционно как раз описание героизма деятелей науки, техники и т. д. Традиционна боязнь изобразить человека искусства наиболее чутким (ведь это так и есть и иначе быть не может). Второе — я знаю несколько случаев самых тяжелых наказаний за литературную деятельность в лагере. Сюжет «Анны Ивановны» подкреплен живой правдой о мертвых, убитых людях.

Не говоря уже о том, что преступление писать стихи — одно из худших лагерных преступлений. Наказаний за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше. Стало быть, жизненной правды тут нет недостатка или искажения.

Но суть вопроса гораздо шире, глубже лагерного горизонта, сюжетного хода пьесы. Дело в том, все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда «на подсосе», на прикорме у правительства при любой власти. Они и страдают гораздо меньше, да и духовная жизнь их идет несколько в стороне от столбовой дороги страстей. Стоит припомнить недавний ответ профессора Китайгородского на анкету «Вопросов литературы»<sup>21</sup>. События, во время которых бедные космонавты оказались начисто забыты<sup>22</sup>, дают нам истинный масштаб литературы, и жизни, и науки. (Как ни требует внимания инстанций мистерия «Голубой крест» — в свистопляске идеологических страстей требовалось иное — «Голубая кровь».)

Кто же истинный герой? Я считаю, что долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба с «идеологией» из той же области.

Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова<sup>23</sup>, может быть.

Профессор Китайгородский в ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» сообщил, что физики ничего не читают — ни классиков, ни современников — ничего. И не нуждаются в чтении. Все это Китайгородский говорит «от имени», постоянно поминая «мы», «у нас» и т. д. Он говорит, что ученые читают только детективы и на психологический роман у них не хватает духовных сил. Это признание значит, что ученые не читают ничего, ибо чтение

детективов — это так называемое «отвлекающее» чтение, необходимое каждому писателю, каждому ученому, каждому работнику искусств. Суть тут в том, что мозг работает на пониженных оборотах, но не выключается совсем (как во время какой-нибудь лодочной экскурсии или пилки дров). Детективы как отвлекающее чтение читал и Хемингуэй и очень дельно рассказывал об этом. Для очень многих (например, Грин) таким отвлекающим чтением является чтение энциклопедических словарей, справочников и т. д. Я тоже читаю справочники с этой же целью. Есть еще вид писательского чтения — это так называемое «стимулирующее» чтение (Пастернак читал классиков, В. М. Инбер — Диккенса, Вы читаете словарь Даля). Для работы Вашей словарь Даля совершенно не нужен, но как известного рода допинг — допустим.

Теперь пойдут дела домашние. Недавно мне пришло письмо из Вологодского отделения Союза писателей с просьбой дать книгу, написать «писательскую» автобиографию. Писательская автобиография должна (по тексту письма) быть написана «сочно», «образно». Честное слово, так и пишут, письмо у меня.

Вологда никогда не обращалась ко мне. В рассказах, которые я написал в тридцатых годах, были вещи и на вологодском материале, — никто оттуда ничего не говорил, не писал. С 1957 года печатают мои стихотворения, указывая, что автор — вологжанин. Никаких рецензий в вологодской газете. В 1961 году выходит «Огниво», имеет рецензии в нескольких городах, только не в Вологде. В 1962 году я сидел в кабинете одного ответственного товарища в «Литературной газете». Товарищ этот говорит: «Слушайте, Варлам Тихонович, хотите, я Вам устрою книжку стихов?» Еще бы.

Берет телефон, заказывает Вологду, и через пять минут говорит не то с Мальковым, не то с Малковым<sup>24</sup>.

— Завтра вологодская книжка [будет]. Слушайте телефон.

— Я слушать не могу.

И каждый ответ он мне повторяет шепотом.

— Нет, это очень трудно, у нас своих много, а Вы еще с каким-то Шаламовым. Надо, чтобы написал предисловие какой-нибудь московский писатель.

— Каждый московский писатель будет считать долгом дать предисловие к книжке Шаламова.

— Ну, хорошо, мы напишем ему сами. Дайте его адрес.

Записывается мой адрес, и все.

Моему доброхоту было очень стыдно встречаться со мной.

Выход «Шелеста листьев» не произвел на Вологду никакого впечатления. И только после рецензии Инбер в «Новом мире» они вдруг обратились ко мне с просьбой написать «сочно» и «образно» и прислать две книжки, уже изданных, из которых они выберут.

Я хотел сказать, что разговор начат не с того конца, что они должны бы просить у меня ненапечатанных стихов или прозу, но передумал и написал просто короткий отказ.

Я тут увлекся рассказом о моих вологодских разговорах и упустил главное, что я хотел Вам сказать. Я начал свою автобиографию и написал уже листа четыре. Хочу показать Вам. Это вещь не для Вологды — велика по объему, так сказать, называется «Несколько моих жизней»<sup>25</sup>. Не претенциозно название? Прочтете?

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Москва, 15 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Написал Вам целых два письма<sup>26</sup>, но из-за нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле — не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече. Там есть мои замечания на Ваше чтение «по долгу службы».

Желаю здоровья, хорошей работы, успеха «Свече на ветру».  
Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич!

Очень рад был получить Ваше письмо<sup>27</sup>. Жаль только, что Вы сузили тему разговора — за бортом осталась наиболее важная часть. Но и в оставшемся «оттенки» выражены явственно, и итоги обсуждения «подбивать» еще рано.

Долг писателя — героизация именно судебных интеллигентов, писателей, поэтов. Они имеют на это право несравненно большее, чем какие-либо другие «прослойки» общества. (Не следует думать, что другие прослойки этого права не имеют.) Дело в степени, в сравнении, в нравственном долге общества. Противопоставление судеб гуманитарной и технической интеллигенции тут неизбежно — слыш-

ком велика разница «ущерб». Хорошо Вам известные приключения господина Рамзина<sup>28</sup>, который позволил себе принять участие в известной комедии — с орденосным «хэппи-эндом» и ведром прописной морали, вылитой по этому поводу на головы зрителей и слушателей, — это единственный пример «ужасного», «крайнего» наказания «вольнодумного» представителя мира науки и техники. Все другие отделялись еще легче (шахтинцы<sup>29</sup> и т. д.).

С поэтами и писателями был другой разговор. Мандельштам, Гумилев, Пильняк, Бабель (и сотни других, чьи имена не записаны еще на мраморную доску Союза писателей, хотя их явно больше, чем погибших в войну, и по количеству и по качеству) — были уничтожены сразу. Хотя любой прямоточный котел и любой космический корабль в миллионы раз стоят меньше, чем стихи Мандельштама.

Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама — неизмеримо дороже людям, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию. Здесь суть вопроса — «оттенки». Именно так должен быть поставлен и решен этот вопрос. Это нравственный долг общества. И говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы «художник рисовал собственное ателье»! Ведь художник-то убит в своем ателье.

В вопросе об «ателье» Вы ошибаетесь, Александр Исаевич, даже если взять этот вопрос в Вашем понимании. История литературы, да и история человеческой души знает не одно «ателье» подобного рода, которое рисовал художник, «Детство и отрочество», например. Разве это не «ателье», которое описывает художник Толстой. Конечно, «ателье». В прозе таких «ателье» очень много — их воспитывающая роль неоспорима.

*В поэзии примеры привести столь же легко.  
«В трюмо испаряется чашка какао,  
Колышется тюль — и прямой  
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос  
К качелям бежит трюмо»<sup>30</sup>.*

«Ателье»? Ателье. Дача. И в то же время эти строки — высочайшая вершина русской поэзии XX века, века очень богатого в русской литературе, украшенного немалым количеством блестящих имен.

Это — решение вопроса в Вашем понимании «ателье». Для меня же «ателье» художника — это его душа, его личный опыт, отдача скопленного всей жизнью, и в чем это будет выражено, к чему будет привлечено внимание, — не суть важно. Будет талант, будет и новизна. Будет новизна, неожиданность, будет и победа. У искусства много начал, но цели его — едины.

Недостаточно правильную позицию, мне кажется, Вы занимаете и в отношении к современным «бытописателям», вроде Шелеста и Алдан-Семенова<sup>31</sup>. Тут аргумент «правды» и «неправды» недостаточен. И вот почему. Ведь Алдан-Семенов тоже может сказать, что он, Алдан-Семенов, описывает «пережитое» правдиво, а Солженицын — лжет. Алдан-Семенов скажет: кто дал Солженицыну право судить о том, что в лагере верно и что неверно, если Солженицын лагеря не знает (потому-то и потому-то), а он, Алдан-Семенов, был столько-то лет на Колыме (на Колыме!) и может представить документы, вместе со справкой о реабилитации. Ведь с представлением документов уже был казус, о котором Вы когда-то мне писали<sup>32</sup>. На мой взгляд, Вам (или тем, кто представлял Ваши интересы) вовсе не нужно было представлять какие-то документы о своем заключении. Действовать так — значит вытолкать обоих авторов из литературы — пусть ведут поединок на газетных страницах. Где же истина? Где обе правды, о которых так хорошо знал XIX век России — правда-истина и правда-справедливость?

Почему Вам кажется, что лжет Алдан-Семенов или Дьяков<sup>33</sup>, а не лжет Шаламов в его «Колымских рассказах»?

Вот Ажаев<sup>34</sup>, классик литературы подобного рода, включился в разработку золотых рудников, написав «Вагон», — где герои партийцы избивают уркачей и играют в «жучка» в вагоне, хотя с тех пор, как существуют каторга и «жучок», — в вагонах в «жучка» не играют. Ну, Ажаев и удостоверений предъявлять не будет. Это просто рыцарь золотого руна.

Вы меня простите, что я поставил Ваше имя рядом с Алдан-Семеновым, но это на секунду, для иллюстрации ошибочной Вашей мысли. Пусть о «правде» и «неправде» спорят не писатели. Для писателя разговор может идти о художественной беспомощности, о злонамеренном использовании темы, спекуляции на чужой крови, о том, что Алдан-Семенов, сочиняя свои небывлицы, не может говорить от имени лагерников — не в силу своего личного опыта, а из-за своей бездарности. Тут опять-таки вопрос таланта, Александр Исаевич. Исполнение писательского долга и связано именно с талантом. Именно поэтому важно, скажем, Ваше мнение, а не

мнение Алдан-Семенова. Или — шире: важно мнение Пушкина о Борисе Годунове, который был исторически, фактически не таким, не тем, как изобразил его Пушкин. Талант — это очень серьезная ответственность. Ну — это — несколько другой вопрос.

Я бы ответил на Ваш вопрос так. Этим людям-лжецам: Шелесту, Алдан-Семенову, Серебряковой<sup>35</sup> не надо было давать дорогу в художественную литературу. Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия — искусство.

Дорогой Александр Исаевич!

Рад был получить от Вас письмо. На Асеевском вечере выступить не пришлось — меня просто известили, что вечер переносится, а потом из газет я узнал, что вечер состоялся. «Маленькие поэмы»<sup>36</sup> будут Вас ждать и вовсе не на «временно». Радуюсь известию о «Свече на ветру»<sup>37</sup>. На мой взгляд, ничего переделывать там не надо. О произведениях Дьякова, Шелеста и Алдан-Семенова пишу Вам подробнее, хотя все эти авторы заслуживают лишь краткого, но крепкого слова по их адресу.

Когда выходил «Иван Денисович», предполагалось: либо повесть будет ледоколом, который откроет дорогу правде к обществу, к молодежи, растолкает лед, и в очистившуюся воду войдут новые многочисленные корабли. Или — публикация «Ивана Денисовича» лишь крайняя точка размаха маятника, который начнет ход назад. И в этом, горьком, втором случае следовало ожидать мутной волны ловкачей на все руки, которые будут торговать собственной кровью (а главное — чужой, что гораздо хуже).

В публику допущены три «бывалых» человека — Алдан-Семенов, Шелест и Дьяков. Сомнительный опыт Галины Серебряковой тут явно не годился. Что касается авторов нескольких сочинений на тему «люди остаются людьми», то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого и созданы. А вот могут ли люди терпеть больше, чем любое животное — главная закономерность тридцать восьмого года, — это, по-видимому, авторами не имелось в виду.

Алдан-Семенов — личность хорошо известная в журнально-газетных кругах. За всевозможные «искажения», разнообразную «клюкву» его упрекали не раз. В одном его только никогда не

упрекали: в недостаточном подхалимстве. При полном отсутствии таланта и вкуса это качество позволило «создать» (как выражаются с некоторых пор) «Барельеф на скале».

Мне на глаза попала большая статья, напечатанная в «Магаданской правде», где сравниваются произведения Дьякова и Алдан-Семенова. Отдается предпочтение Дьякову как достигшему истинно художественных вершин и т. д., а Алдан-Семенов критикуется за то, что изобразил начальника не типичным, ибо лагерные работы после войны были упорядочены, лагеря выведены из-под контроля начальников (далее перечисляются «пункты», из которых явствует осведомленность автора рецензии в перипетиях лагерной организации тех лет). Алдан-Семенова хвалят за то, что он уделил вниманию «барельефу» — как явлению, по существу «имевшему место» в тех или иных формах.

Алдан-Семенов Вам кажется «расконвоированным». Тут вот в чем дело. Лагерная Колыма — это огромный организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. На территории этой в худшие времена было до 800—900 тысяч заключенных. (Поменьше, стало быть, Дмитлага, где во времена Москанала было 1.200.000 человек списочного состава).

На Колыме тех времен было несколько исполинских горнопромышленных управлений (Северное, Южное, Юго-Западное, Западное, Тенькинское, Чай-Урьинское и т. д.), где были золотые прииски, оловянные рудники и таинственные места разработки «малого металла». На золоте рабочий день был летом четырнадцать часов (и норма исчислялась из 14 часов). Летом не бывало никаких выходных дней, «списочный состав» каждой забойной бригады менялся в течение золотого сезона несколько раз. «Людские отходы» извергались — палками, прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу, под сопку, в инвалидные лагеря. На смену им бросали новичков из-за моря, с «этапа» без всяких ограничений. Выполнение плана по золоту обеспечивалось любой ценой. Списочный состав бригад (где не было никого живого, кроме бригадиров) поддерживали на «плановом уровне».

Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует. Ведь то, что на Колыме есть золото, — известно триста лет. Но никогда и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых условиях. В этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж. Оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко и не только «выбивать» из заключенных план, но и заставлять арестантов подписываться на займы (это делалось регулярно). И не

только на займы, но было предложение собирать подписи под Стокгольмским воззванием.

Большого презрения к человеку, большого презрения к труду нельзя встретить. Поэтому те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и героизма».

Попасть на золото — значило попасть в могилу. Случайность судьбы, когда список разрезают надвое — одни идут умирать, а другим достается жизнь и работа, которую можно вынести, перенести, пережить. И разве не каждый день такой список разрезают на две части. Список судьбы каждого. Большой частью — это случайность. Но иногда может быть приложено и волевое усилие — как я и показываю, например, в «Тифозном карантине», рассказе, заключающем сборник<sup>38</sup>.

Спасение, избавление от золота — только инвалидность (здесь все саморубы, самострелы, им имя — легион). Хотя саморубы юридически не пользуются статусом инвалида — фактически заставить его работать нельзя.

Для определения инвалидности, дающей право на «инвалидность», нужно решение, протокол Центральной врачебной комиссии при Санотделе управления, в Магадане. В остальных случаях все больницы возвращают инвалидов на старые места.

На золотых приисках сосредоточено 90% лагерного населения Колымы.

Второе по величине управление — Дорожное. Центральная «трасса» Колымы — около 2000 километров. Эта дорога имеет десятки ответвлений, подъездных путей к приискам, морским портам и полярным аэродромам.

Дорожники строят «шоссе». Там все «шоссе» — так называемая «американка» (легкое покрытие и постоянный бдительный уход-ремонт). Все дорожники (размещенные по всей территории края) делятся на две большие группы: строителей и эксплуатационников. Работа строителей в дорожных управлениях неизмеримо легче работы на золоте. (Здесь кадры пополняются только в исключительных случаях, стало быть, надо беречь людей, как берегут скот, и сам режим другой, чем на приисках.) Работа дорожников гораздо легче работы на золоте, хотя тут тоже грунт, тачка и кайло. Эксплуатационники (в мое время большинство их были «вольняшки», т. е. бывшие зэка) действуют лопатой и метлой.

Строители-дорожники — разностатейны, малосрочны, но все без московских «спецказаний» «об использовании только на тяже-

лых физических работах» и т. д. В дорожных управлениях нет промывочного сезона, нет «металла». Там десятичасовой рабочий день, регулярные выходные (три в месяц). И хоть кормят дорожников «по идее» хуже, чем работников золотых приисков, на деле все оказывается наоборот. Хлеб давался тут всем одинаково — независимо от выработки — «восьмисотка». Блатных по понятным причинам среди дорожников мало, а если и есть — на «конвойных» дорожных командировках. Такие командировки существуют (как средство устрашения остальных дорожников) на тех участках, где «фронт пошире», в особых штрафных зонах, где состав постоянно меняется. Остальные дорожники «расконвоированы». Вот в этом-то управлении где-то около Аркагалы и работал сколько-то лет Алдан-Семенов. Он — 1) расконвоированный, 2) к работе на золоте он не имеет ни малейшего отношения.

Кроме Дорожного управления, на Колыме существует Угольное управление (Дальстройуголь), где на отдельных шахтах в разных местах Колымы живут и работают люди опять-таки по-своему, по-угольному, а не по-«золотому». Неизмеримо легче золотого. Есть речное управление — обслуга пароходства на Колыме и Индигирке. Там был вообще рай. Есть геологоразведочные управления (так называемые ГРУ), где только живут многочисленные расконвоированные с «сухим пайком». Там общение вольнонаемных и заключенных гораздо теснее, чем на золоте, ибо в глухих разведочных закоулках иногда, когда нет наблюдающего стукаческого ока и власти центральных инструкций — люди и остаются людьми.

Есть управление «второго металла», оловянный рудник касситерита (Бутугычаг, Валькумей), руды, которую все зовут «костерит». Есть управления секретные, где заключенные получают зачеты семь дней за день. Это относится к урану, к танталу, к вольфраму. Заключенных на этих предприятиях мало: тут действуют контингенты «В», «Г», «Д» и так далее.

Есть управление совхозов, где заключенные живут дольше, какими бы слабыми они туда ни попали, — там, как и в Мариинских лагерях, всегда находится что-то такое, что можно есть, — зерна пшеницы, свекла, картофель, капуста. Попадающие туда считают (и справедливо) себя счастливыми, в управления совхозов входят и большие рыбалки на всем Охотском побережье. Попасть туда — достаточно, чтобы жить, а не умереть. Вот генерал Горбатов на такую спасительную рыбалку и попал после больницы на 23-м километре Магаданской трассы, той самой больницы, в которой я

— через шесть лет после того, как там побывал инвалид Горбатов, — окончил фельдшерские курсы, спасшие мне жизнь.

Я был и на Оле (где работал Горбатов) уже вольнонаемным фельдшером в 1952 году, но моя анкета не подошла для «национального района» (тоже особая жизнь на Колыме — у эвенков, юкагиров, якутов, чукч — где своя, но очень особенная советская власть, не входящая в руки Дальстроя). Заключение там тоже есть — единицами, случайностью занесенные.

Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами, — не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключение там очень много. И шоферы, и автослесари, и т. д. Но все это, конечно, — не золото.

Есть управление подсобными предприятиями — всевозможными мастерскими пошива, отнюдь не индпошива. Если для высадки в Нормандии требовалось астрономическое количество солдатских пуговиц, для чего пришлось создавать в Англии большую организацию — то сколько надо рабочих, чтобы шить непрерывно (а главное, непрерывно чинить) известные лагерные «бурки» из старых брюк и телогреек.

Есть заводы ремонтные, которые давно перестали быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки (чтоб освободить Колыму от «импортной» зависимости в виде машин с «материка»).

Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.

Словом, на Колыме важна не только «общая» удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или получить «кант», — но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная, особая жизнь.

Страшнее всего, зловещее всего — это золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет. Если в других местах были месяцы трудностей или есть штрафзоны непереносимые, то на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления. Загнать на золото — вот чем грозят везде, во всех управлениях. А работа на золотых приисках — это 90% всех людей Колымы. Для этих забоев по всем управлениям непрерывно работают комиссии, чтобы вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.

В этом беспрерывном страхе — заключенных за свою судьбу, а начальства — за свою недостаточную бдительность — тоже один из важных растлевающих моментов лагерной жизни.

Теперь о генерале Горбатове, о четвертом нашем мемуаристе. Его воспоминания<sup>39</sup> — самое правдивое, самое честное о Колыме, что я читал. Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» — когда его привезли на Колыму в 1939 году. Посчитайте время с момента, когда он приехал и начал работу в забое, и до того часа, когда он заболел и был отправлен как необратимый инвалид в Магадан (в больницу на 23-м км). Там была Центральная больница для заключенных. Там я окончил фельдшерские курсы и об этих курсах написал (не тогда, конечно, а много позднее). Подсчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большее полтора месяца и был выброшен из забоя навечно как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала. Горбатов приехал на Колыму «к шапочному разбору» и все же был напуган, ошеломлен навек. О самом прииске «Мальдяк» Горбатов недостаточно осведомлен. Это — большой прииск, а Горбатов был на одном из участков «Мальдяка», где было всего 800 человек с фельдшером зэка. Начальником санчасти прииска «Мальдяк» была в то время молодая женщина, молодая врачиха Татьяна Репьева, которой Колымская ее административная власть и офицерские пайки так понравились, что она осталась там на всю жизнь. Еще год-два назад ей к 25-летию Дальстроя выходил какой-то важный орден. Список награжденных печатался в «Правде».

Горбатов и о ворах правдиво написал, об их лживости, об их правилах нравственности в отношении фраеров, об открытом разбое.

Попасть в то или иное управление — случайность. Конечно, если не иметь в виду всевозможных «спецкарт», «разработок» и «меморандумов». Но каждый бывший заключенный, желающий говорить от имени лагерной Колымы, не имеет права забыть о том, что творилось на золоте, — все равно — дорожник ли он, расконвоированный или лагерный стукач, работающий статистиком в КВЧ. Ведь никакого секрета, никакой тайны приисков не было. Кроме того, для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки — палки вполне реальной, палки отнюдь не в переносном

смысле как некий род тонкого духовного принуждения. Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растрепания? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно-тяжелой физической подневольной работы.

Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

В «Колымских рассказах» я старался указать на важные закономерности человеческого поведения, которые неизбежно возникают в результате тяжелой работы на морозе, побоев, голода и холода.

Блатари (мир, который подлежит беспощадному уничтожению) за свое нежелание работать заслуживали бы уважения, если бы уклонения их от работы не оплачивались щедро чужой кровью, кровью несчастных фраеров.

Этот важный вопрос Горбатов решает так: «тяни, пока можешь». Кинематографическое движение теней с бревнами на плечах, изображенное Горбатовым как образец лагерного труда полумертвых людей (радующихся, что они — не в золотом забое), весьма выразительно. Такое «тяни, пока можешь» — очень далеко от прославления лагерного физического труда, от героизма принудительного труда, от лизанья палки.

Я тоже «тянул, пока мог», но я ненавижу этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту. В лизанье лагерной палки ничего, кроме глубочайшего унижения, для человека нет.

В статье Карякина<sup>40</sup> как раз этот вопрос трактовался неверно. И это и есть главная ошибка статьи. Но, к счастью, это ошибка. Если бы «Иван Денисович» был героизацией принудительного труда, автору этой повести перестали бы подавать руку.

Это один из главных вопросов лагерной темы. Я готов обсудить его в любое время и в любом обществе.

На принудительный труд в лагерях (в Соловецкое время) всегда делалась скидка (почему-то в 40% [нормы]), как я отлично помню). Однако «перековка» и все, что известно под именем «Беломорканала», показали, что заключенный может работать лучше и больше вольного, если установить шкалу «желудка» — принцип, всегда сохраняющийся в лагерях, проверенный многолетним опытом, и

разработать систему зачета рабочих дней. Первое — более важно. Второе — менее важно. Тут уж затронуты какие-то важные, донные элементы человеческой души, о которых животные и понятия не имеют. Лошади не подписываются на займы, не ставят копытом отписки под Стокгольмским воззванием.

«Перековка» была важным этапом на пути растления душ людей.

Когда подлеца сажают ни за что в тюрьму (что нередко случилось в сталинское время, ибо хватали всех, и подлец не всегда успевал увернуться), он думает, что только он один в камере невинный, а все остальные враги народа и так далее. Этим подлец отличается от порядочного человека, который рассуждает в тюрьме так: если я невинно мог попасть, то ведь и с моим соседом могло случиться то же самое. Дьяков — представитель первой группы, а Горбатов — второй. Как ни наивен генерал, который усматривает причины растления в слабости сопротивления пыткам. Держались бы, дескать, и всех освободили бы. Нет, те, кто держался, — тоже умерли, да и невероятно думать, что сопротивление пыткам есть свидетельство особой духовной ценности Горбатова. Я тоже не подписывал ничего, что могло бы «наказываться», но меня и не били на допросах. (В лагере били несчетное количество раз, но следствия, оба следствия прошли без побоев.) И я не знаю, как бы я держал себя, если бы мне иголки запускали под ногти. В лагере мне довелось встретить человека, исповедовавшего в этом вопросе одну и ту же веру с Горбатовым. Это был начальник Нижегородского НКВД, получивший срок. В отличие от огромного большинства следователей, прокуроров, партийных работников этот начальник не скрывал того, чем он занимался на воле. Наоборот. Он ввязывался во всякий спор по этому поводу (я встречался с ним где-то на транзитке, а не на прииске) и кричал: «Ах, ты подписал ложные показания, которые мы, работники НКВД, выдумали. Подписал — значит, ты и есть враг. Ты путаешь следствие, лжешь Советской власти. Если бы не был враг, то должен был терпеть... Бьют тебя, а ты терпи, не позорь Советскую власть». Я, помню, слушал, слушал этого господина, а потом сказал: «Вот слушаю тебя и не знаю, что делать — не то смеяться, не то дать тебе по роже. Второе, пожалуй, правильнее».

Вот это единственное мое критическое замечание в адрес мемуариста Горбатова.

Возвращаемся к мемуаристам первой группы. Желание обязательно изобразить «устоявших». Это тоже вид растления духовного.

Растление лагерное многообразно. Когда-то в «Известиях» я прочел шелестовский «Самородок» и поразился наглости и беззастенчивости именно с фактической его стороны. Ведь за хранение самородков расстреливали на Колыме, называя это «хищением металла», и вопрос о том, сдавать самородок или не сдавать — раз его нашли и увидели четыре человека (или три, не помню), — не мог задать никто, кроме стукача. Все эти авторы — Дьяков, Шелест и Алдан-Семенов — бездарные люди. Их произведения бездарны, а значит, антихудожественны. И большое горе, нелепость, обида какая-то в том, что Вам и мне приходится читать эти рассказы «по долгу службы» и определять — соответствует ли этот антихудожественный бред фактам или нет? Неужели для массового читателя достаточно простого упоминания о событиях, чтобы сейчас же возвести это произведение в рамки художественной литературы, художественной прозы. Это вопрос очень серьезный, ведущий очень далеко. Неужели мне, который еще в молодости старался понять для себя тело и душу рассказа как художественной формы и, казалось, понял, для чего у Мопассана в его рассказе «Мадемуазель Фифи» льет беспрерывно дождь, крупный руанский дождь, — неужели все это никому не нужно, а достаточно составить список преступлений и список благодеяний и, не исправляя ни стиля, ни языка, публиковать, пускать в печать. Ведь у моих стихов и моих рассказов есть какое-то стилевое единство, над выработкой короткого пришлось много поработать, пока я не почувствовал, что явилось свое лицо, свое видение мира. Значит, не надо быть Чеховым, Достоевским, Толстым, Пушкиным, не надо мучиться вопросом «выражения» — ибо для читателя ничего не надо, кроме разнообразных Алдан-Семеновых, Дьяковых и Шелестов.

Почему мы — Вы и я — должны тратить время на чтение этих произведений, на оценку их «фактического» содержания? Если читатель принимает такие произведения, то, значит, искусство, литература не нужны людям вовсе.

Вот, пожалуй, и все из самого главного, что захотелось мне сказать Вам по поводу Вашего впечатления от чтения «по долгу службы».

Прошу прощения, что письмо затянулось. Желаю Вам здоровья, работы хорошей. Ни пуха, ни пера роману<sup>41</sup>.

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Москва, 6 августа 1966 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Рад был Вашему письму<sup>42</sup>. История напечатания стихов в «Литературной газете»<sup>43</sup> такова. Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегию «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937—1956), и примерно через год имел беседу с Наровчатовым — ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское. «Вот если бы Вы дали что-нибудь современное — мы отвели бы Вам полполосы». Я всегда держу в памяти практику работы в журналах: где просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью» авторам — «даем место, печатаем!» — занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» — все тонкие и толстые журналы Советского Союза. Это вреднейшая практика, никакими ссылками на вышестоящих или сбоку стоящих не оправдываемая. Это называется помогать, выбивать, хорошо относиться и т. д.

К сожалению, материальные дела авторов не позволяют разорвать эти связи. Так у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности». Но с «Литературной газетой» ради первой публикации я решил поступить иначе, предвзяв этот разговор.

— Я не вижу возможности предложить что-либо другое. «Литературная газета» напечатала обо мне четыре статьи, где всячески хвалит именно колымские стихи. А когда дело доходит до напечатания — мне говорят: давайте какие-нибудь другие.

— Можете взять свои стихи назад.

— Охотно.

При разговоре был Нечаев, автор одной из статей обо мне, — он работал тогда в аппарате «Литературной газеты».

— Нет, оставьте. Может быть, мы выберем что-либо.

Этот разговор был два года назад, и я не справлялся о стихах, но в пятницу, 29 июля, меня вызвали в «Литературную газету» (там работали уже другие люди), и Янская, новая заведующая отделом поэзии, сказала: «Вот, посмотрите, не напечатаны ли эти стихи где-нибудь, ведь прошло два года».

Я посмотрел.

— Когда же вы будете давать?

— Завтра или никогда.

Зачем я это все Вам пишу? Чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» — подлинная фальшь.

Дорогой Александр Исаевич.

Я прочел Ваш роман<sup>44</sup>. Это — значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые высокие мои похвалы. Великолепен сам замысел, архитектура задачи (если можно так расставить слова). Дать геологический разрез советского общества с самого верха до самого низа — от Сталина до Спиридона. Попутно: в характере Сталина, мне кажется, Вами не задета его существеннейшая черта. Сталин писал статью «Головокружение от успехов» и тут же усиливал колхозную эскалацию, объявлял себя гуманистом и тут же убивал.

Я не разделяю мнения о вечности романа, романной формы. Роман умер. Именно поэтому писатели усиленно оправдываются, дескать, взяли из жизни, даже фамилии сохранены. Читателю, пережившему Хиросиму, газовые камеры Освенцима и концлагеря, видевшему войну, кажутся оскорбительными выдуманнные сюжеты. В сегодняшней прозе и в прозе ближайшего будущего важен выход за пределы и формы литературы. Не описывать новые явления жизни, а создавать новые способы описания. Проза, где нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров, — возможна. Жизнь — такой документ (Вайс в «Дознании»<sup>45</sup> — только попытка, проба, но зерно истины там есть). Любимов и Таганка<sup>46</sup>. Все это должно быть не литературой, а читаться неотрывно. Не документ, а проза, пережитая, как документ. Я много раз хотел изложить Вам суть дела и выбрал время, когда я хвалю Вас за роман, за победу в классической, канонической, а потому неизбежно консервативной форме. Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме. Я не имею в виду Вашего романа, но в «Раковом корпусе» такие герои и идеи есть (больной, который читает в палате «Чем люди живы»).

В этом романе очень хороши Герасимович, Абрамсон, особенно Герасимович. Очень хорош Лева Рубин. Драма Рубин — Иннокентий показана очень тонко, изящно. Улыбка Будды<sup>47</sup> — вне романа. По самому тону. За шуткой не видно пролитой крови. (В наших вопросах недопустима шутка).

Спиридон — слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая. Слабее других — женские портреты. Голос автора разделен на тысячу лиц — Нержин, Сологодин, Рубин, Надя, Абрамсон, Спиридон, даже Сталин в какой-то неувовимо малой части.

Роман этот — важное и яркое свидетельство времени, убедительное обвинение. Мысль о том, что вся эта шарашка и сотни ей подобных могли возникнуть и работать напряженно только для того, чтобы разгадать чей-то телефонный разговор для Великого Хлебо-реза, как его называли на Колыме.

Жму руку. Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.  
[1966]

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Новый мир», 1962, № 11.
2. «Красили» — крестьяне, занимавшиеся раскрашиванием дешевых ковриков по трафаретам.
3. Шелест Г. И. (1898—1965) — писатель, был репрессирован. Рассказ «Самородок» опубликован в газ. «Известия», 5 ноября 1962 г.
4. Шаламов имеет в виду свой разговор с Солженицыным «о ледаколе и маятнике» при их первой встрече в редакции журнала «Новый мир» в 1962 году.
5. Письмо А. Солженицына от 28 мая 1963 г. о приезде в Москву.
6. А. Солженицын. Киносценарий «Знают истину танки!», опубликован в журн. «Дружба народов» № 11, 1989.
7. Решетовская Наталья Алексеевна — первая жена А. И. Солженицына.
8. Неклюдова Ольга Сергеевна (1909—1989) — вторая жена В. Т. Шаламова, писательница.
9. «Очерки преступного мира», вошли в кн. «Левый берег», М., 1989.
10. «Бутырская тюрьма» — очерк В. Шаламова, опубликован в альманахе «Российский летописец», изд-во «Книга», 1989.
11. «Подполковник медицинской службы» — рассказ В. Шаламова из сб-ка «Перчатка, или КР-2», не завершен.
12. Теуш Вениамин Львович, математик, знакомый А. Солженицына, хранитель его архива. Этот архив был изъят у В. Л. Теуша в сентябре 1965 г. сотрудниками КГБ.
13. Сергей Юрьевич Неклюдов — сын О. С. Неклюдовой, филолог.
14. Письмо не отправлено.
15. О встрече в Солотче, которая все-таки состоялась осенью 1963 года, Шаламовым написано стихотворение «Сосен светлые колонны...»

*Сосен светлые колонны  
Держат звездный потолок,  
Будто там, в садах Платона,  
Длится этот диалог.  
Мы шагаем без дороги,  
Хвойный воздух, как вино,  
Телогрейки или тоги —  
Очевидно, все равно.*

По словам Шаламова, кроме чисто бытовых поводов отъезда его из Рязани, были и более глубокие причины: прежде всего — наметившееся различие взглядов на лагерную тему в литературе.

16. Варпаховский Леонид Викторович (1908—1976) — советский театральный режиссер, был репрессирован, встречался с Шаламовым на Колыме. Встреча с ним изображена в рассказе Шаламова «Иван Федорович» («Левый берег», М., (1989).

17. Этот эпизод в книге «Бодался теленок с дубом» (Париж, 1975, с. 81—82) А. Солженицын описывает так: «... На пленарном заседании [Комитета по Ленинским премиям] первый секретарь ЦК комсомола Павлов высту-

пил с клеветой против меня — первой и самой еще безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному».

18. В это время В. Т. Шаламов получал пенсию 42 р. 30 к., и лишь в 1965 году его хлопоты увенчались успехом — он стал получать 72 р. («У меня пенсия льготная, горняцкая», — гордо говорил он).

19. «Двадцатые годы», опубл. в журн. «Юность» №№ 11—12, 1987.

20. Пьеса В. Шаламова, опубл. в журн. «Театр» № 1, 1989.

21. Китайгородский А. «Несколько мыслей физика об искусстве». «Вопросы литературы» № 8, 1964.

22. Шаламов имеет в виду смещение Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС.

23. Георгий Георгиевич Демидов (1908—1987), физик, инженер, с которым Шаламов познакомился на Колыме. Десять лет провел на общих работах. По словам Шаламова, один из самых достойных людей, встреченных на Колыме. Демидов стал прототипом героя рассказа Шаламова «Житие инженера Кипреева» (опубл. в журн. «Смена» № 22, 1988), ему же посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна».

24. Малков Владимир Михайлович, директор Вологодского книжного издательства.

25. Опубл. в сб-ке В. Шаламова «Стихотворения», М., 1988.

26. Эти письма не датированы. Публикуются вслед за письмом от 15 ноября 1964 г.

27. Упомянутое письмо А. Солженицына в архиве В. Шаламова не сохранилось.

28. Рамзин Леонид Константинович (1887—1948), ученый-теплотехник. В 1930 г. репрессирован по делу «Промпартии». В 1936 г. амнистирован. Создал конструкцию промышленного прямооточного котла («котел Рамзина»), награжден орденом Ленина, Сталинской премией.

29. Шахтинский процесс, 1928 г. — дело о «вредительстве» в угольной промышленности Донбасса. Верховный суд СССР приговорил 5 человек к расстрелу, 40 — к заключению на разные сроки. Принадлежность к научной или технической интеллигенции от репрессий не спасала, к сожалению.

30. Строфа из стихотворения Б. Пастернака «Зеркало»; у Пастернака — «качается тюль...»

31. Алдан-Семенов А. И. (1908—1985), писатель, был репрессирован, автор ряда книг, в том числе повести «Барельеф на скале», «Москва» № 7, 1964.

32. В письме от 13 мая 1964 г. А. Солженицын писал: «...Я был с трибуны обвинен, что я уголовник, вовсе не жертва культа и вовсе не реабилитирован. Понадобилось зачение судебного решения, присланного Военной Коллегией Верховного суда СССР».

33. Дьяков Б. А. (р. 1902), писатель, был репрессирован. Автор воспоминаний «Пережитое» (1963), «Повесть о пережитом» (1964).

34. Ажаев В. Н. (1915—1968) — писатель, был репрессирован. Автор романов «Далеко от Москвы» (1948), «Вагон» (опубл. в журн. «Дружба народов», №№ 6—8, 1988).

35. Серебрякова Г. И. (1905—1980) — писательница, была репрессирована. Автор книг «Одна из вас» (1959), «Странствие по минувшим годам» (1962—1965) и др.

36. «Аввакум в Пустозерске», «Гомер» — маленькие поэмы В. Шаламова, опубл. в кн. «Стихотворения», М., 1988.

37. Пьесу А. Солженицына «Свеча на ветру» осенью 1964 г. собиравался ставить театр им. Ленинского комсомола.

38. «Тифозный карантин» — рассказ из сб-ка «Колымские рассказы», опубл. в журн. «Новый мир», № 6, 1988.

39. Горбатов А. В. «Годы и войны», «Новый мир», №№ 3—5, 1964.

40. Карякин Ю. «Эпизод из современной борьбы идей». «Проблемы мира и социализма» № 9, 1964. То же — «Новый мир», № 9, 1964. («Но даже тяжелый труд для большинства из них — это как воскрешение...»).

41. В это время А. Солженицын дал прочитать А. Т. Твардовскому рукопись романа «В круге первом».

42. Имеется в виду письмо А. Солженицына от 1 августа 1966 г.: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в „Литературке“ Ваши стихи! Рад! Нравится. А „О песне“ — 1 и 4 великолепны, очень значительны!..»

43. «Литературная газета» от 30 июля 1966, № 89.

44. Роман А. Солженицына «В круге первом».

45. Петер Вайс (1916—1982) — немецкий драматург. «Дознание» (1965) — его документальная пьеса.

46. В 1960-е годы В. Шаламов не раз бывал в Театре на Таганке. Была у него даже мысль написать пьесу для этого театра. В архиве сохранились наброски этой пьесы. Шаламов говорил, что театр Любимова, избегающий ложного жизнеподобия полутонов, создающий спектакль в резких и точных красках, вводящий документ в ткань спектакля, — современен, отвечает самому духу современности. Театр — это не подобие жизни, а сама жизнь.

47. «Улыбка Будды» — глава из романа А. Солженицына «В круге первом».

*Публикация и примечания И. СИРОТИНСКОЙ*

## О ПИСЬМЕ В «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому.

Я отлично знаю, что мне за любую мою «деятельность», в кавычках или без кавычек, ничего не будет в смысле санкций. Тут сто причин. Первое, что я больной человек. Второе, что государство с уважением и пониманием относится к положению человека, много лет сидевшего в тюрьме, делает скидки. Третье, репутация моя тоже хорошо известна. За двадцать лет я не подписал, не написал ни одного заявления в адрес государства, связываться со мной, да еще в мои 65 лет — не стоит. Четвертое, и самое главное, для государства я представляю собой настолько ничтожную величину, что отвлекаться на мои проблемы государство не будет. И совершенно разумно делает, ибо со своими проблемами я справлюсь сам.

Почему сделано это заявление? Мне надоело причисление меня к «человечеству», непрерывная спекуляция моим именем: меня останавливают на улице, жмут руки и так далее. Если бы речь шла о газете «Таймс», я бы нашел особый язык, а для «Посева» не

---

Эта запись «для себя» сделана В. Т. Шаламовым в феврале 1972 г. Печатается по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ. Публикация И. Сиротинской.

Данная запись представляет исключительную ценность для разъяснения ситуации вокруг известного письма В. Т. Шаламова в «Литературную газету» (для полноты представлений оно перепечатывается ниже). Мотивы написания этого письма, изложенные самим Шаламовым, делают очевидной несостоятельность разного рода произвольных трактовок поступка писателя. (Ср., например: Лесняк Б., «Варлам Шаламов, каким я его знал» — «Рабочая трибуна», 15 марта 1994 г.; его же «Воспоминания о Варламе Шаламове» — «На севере дальнем», № 2, 1989 г., Магадан).

О ситуации вокруг письма в «Литературную газету» см. также воспоминания И. Сиротинской и статью «Традиции русского Сопротивления» в данном сборнике. **Прим. составителя.**

существует другого языка, как брань. Письмо мое так и написано, и другого «Посев» не заслуживает. Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе «Необращенный», написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам.

Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадежность перевода и, вообще, все — в границах языка.

### **В редакцию «Литературной газеты»**

*Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».*

*Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также и с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность.*

*Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь.*

*Я — честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.*

*Я — честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении XX съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны.*

*Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник.*

*Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма.*

*Я отдаю себе полный отчет в том, какие грязные цели преследуют подобными издательскими маневрами господ из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева. Многолетняя антисоветская практика журнала «Посев» и его издателей имеет совершенно ясное объяснение.*

*Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию, на любой шантаж, на любую клевету, чтобы опорочить, запятнать любое имя.*

*И в прежние годы, и сейчас «Посев» был, есть и остается изданием, глубоко враждебным нашему строю, нашему народу.*

*Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.*

*Все сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей.*

*Зачем же им понадобился я в свои шестьдесят пять лет?*

*Проблематика «Колымских рассказов» гавно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, «внутреннего эмигранта» господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся!*

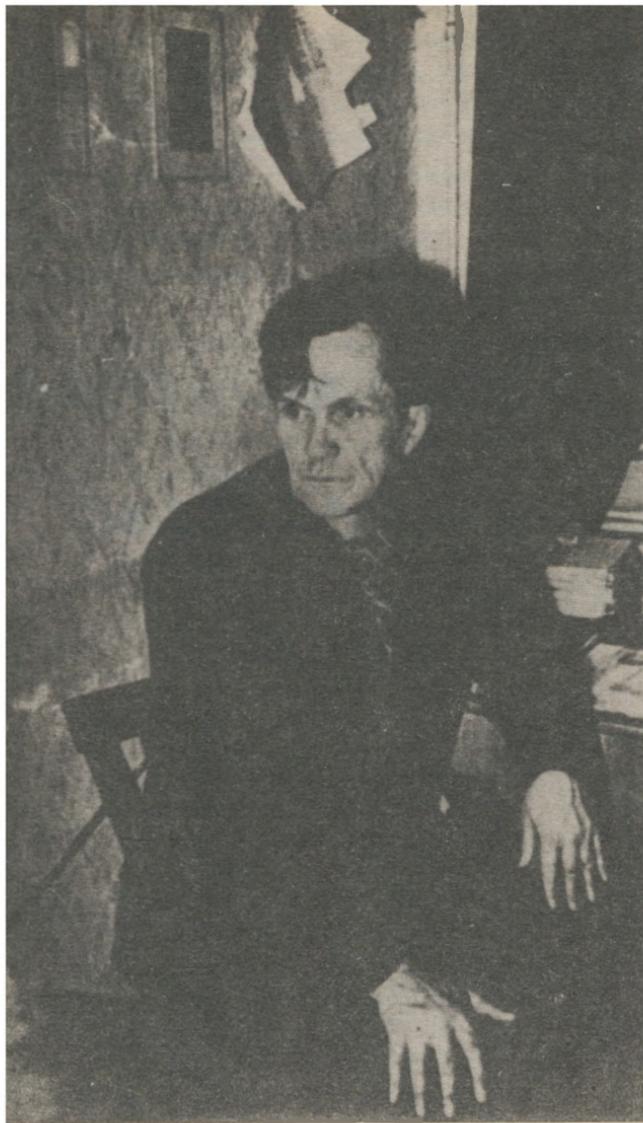
*С уважением  
Варлам Шаламов.*

*Москва*

*15 февраля 1972 г.*

*(Напечатано в «ЛГ» 23 февраля 1972 г.)*

*Воспоминания  
о писателе*



**В. Т. Шаламов. 1968 г.**

И. СИРОТИНСКАЯ

## ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ БЕСЕД

*Воспоминания писать очень трудно. Во-первых, помнишь все как бы вспышками-кусками. Что-то яркое, порой пустяки — запомнилось до мелочи, до интонации, до жеста, а от много важного, главного остается общее впечатление, эмоциональное ощущение какое-то, трудно переводимое в слова. А во-вторых, — всего не скажешь, не напишешь.*

*Как говорил Варлам Тихонович: «Что мы знаем о чужом горе? Ничего. Что мы знаем о чужом счастье? Еще меньше».*

*У меня такое убеждение, а вернее сказать — чувство, что не все может быть достоянием публики — есть и автономия личности, черта, за которую не должны переступать другие. Я никогда не записывала за Варламом Тихоновичем, как не записывает, наверное, никто за действительно близкими и дорогими людьми. Это — иной пласт отношений. И только в 1981 году я почувствовала, что он угасает, и появилась потребность как-то удержать, притормозить эти ускользающие последние дни. И я стала записывать. Просто завела тетрадь и записывала туда его слова, его последние стихи, а заодно — и то, что вспоминалось. Тетрадь я положила в стол, чтобы была всегда под рукой. И вот уже две толстые тетради заполнены такими фрагментами из воспоминаний. Из этих тетрадей я и взяла некоторые отрывки.*

### КАКИМ ОН БЫЛ

Первое впечатление от Варлама Тихоновича — большой. И чисто физический облик: высокий, широкоплечий и ощущение ясное незаурядной, крупной личности с первых же слов, с первого взгляда.

Мне пришлось многие годы знать его. Это первое впечатление не изменилось, но усложнилось... Нельзя, да и не надо приводить эту сложную, противоречивую личность к одному знаменателю. В

нем сосуществовали, противоборствовали, всегда находясь на «точке кипения» разные ипостаси его личности.

Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб.

Умница с удивительной памятью. Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книгочел. Исследователь.

Честолюбец — цепкий, стремящийся укрепиться в жизни, вырваться к славе, бессмертию. Эгоцентрик.

Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа. «Главный итог жизни: жизнь — это не благо. Кожа моя обновилась вся — душа не обновилась...»

Маленький беззащитный мальчик, жаждущий тепла, забот, сердечного участия. «Я хотел бы, чтобы ты была моей матерью».

Беспредельно самоотверженный, беспредельно преданный рыцарь. Настоящий мужчина.

*Теперь ношу ее цвета  
В расцветке шарфа и щита...*

## 2 МАРТА 1966 ГОДА

Разбирая его архив, я нашла в конвертике бережно хранимый им листочек настольного календаря за это число с его пометкой «11-30». Именно в этот день и час я впервые пришла к нему. Пришла по служебному делу как сотрудник отдела комплектования Центрального государственного архива литературы и искусства. Устроила эту встречу моя подруга — Наталья Юрьевна Зеленина, мать которой, поэт и ученый Вера Николаевна Клюева, дружила с Варламом Тихоновичем. Наташа меня предупредила:

— Смотри, он очень резок, чуть что не по нему, с лестницы спустит.

Я решила рискнуть, тем более и жил Варлам Тихонович тогда на первом этаже. К этому времени я прочитала те его рассказы, что ходили в самиздате. «Тифозный карантин» вызвал просто боль, пронзительную боль в сердце. Казалось, что-то нужно сделать сейчас же, неотложно. Иначе жить, иначе думать. Подломились какие-то основы, опоры души, привыкшей верить в справедливость, конечную справедливость мира: что добро восторжествует, а зло будет наказано.

Я шла к нему как к новому пророку, чтобы спросить: как жить. Но повод был приличен и официален — я собиралась предложить ему передать на вечное хранение свои рукописи в ЦГАЛИ.

Дверь передо мной распахнул настезь высокий, ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг! (В книжности В. Т. меня упрекал, но «викингом» ему быть нравилось, даже в стихи это вошло).

Викинг галантно помог мне снять пальто, провел в узкую комнатку (метров 7—8) и предложил изрядно облезлый стул. Я, не мешкая, изложила свою официальную миссию. Пока я говорила, он смотрел на меня, чуть прищурившись, пронзительно, прямо-таки пронзающе. Но меня это почему-то не смущало, хотя я всегда легко смущалась и краснела до ушей. Но скоро его лицо утратило напряжение, стало мягким и доброжелательным. Он ответил согласием на мое предложение относительно рукописей. И я, без всяких предисловий, приступила к главному. Как жить? Этот вопрос его не удивил. Может быть, я была не первой, кто его задавал. Он ответил, что, как сказано в десяти заповедях, так и жить. Ничего нового нет и не надо. Я была чуть-чуть разочарована. И все? И тогда он добавил одиннадцатую заповедь — не учи. Не учи жить другого. У каждого — своя правда. И твоя правда может быть для него непригодна именно потому, что она твоя, а не его.

Уходя, я спросила, можно ли его навещать иногда.

Он кафедрально, внушительно, словно ставя мне оценку, сказал: «Приходите. Вы мне понравились». Я ответила: «Вы мне — тоже». И увидела, как суровый викинг вдруг смутился, как мальчишка, и стал неловко подавать мне пальто.

Действительно, он меня не разочаровал — он был точно такой, каким должен был быть Автор «Колымских рассказов».

А свою одиннадцатую заповедь ему самому случалось часто нарушать. Его убеждения всегда были окрашены страстью в яркие, контрастные тона. Полутона — не его стихия. И он не просто говорил, думал вслух — он учил, проповедовал, пророчествовал. Был в нем Аввакумов дух непримиримости, нетерпимости.

Мне, например, матери троих малых детей и дочери любимых и любящих родителей, он не уставал проповедовать фалангу Фурье, где стариков и детей опекает всецело государство.

«Ни у одного поколения нет долга перед другим! — яростно размахивая руками, утверждал он. — Родился ребенок — в детский дом его!»

Это не мешало ему с неуклюжей почтительностью принимать у себя моих малышей (я часто ходила в гости с ними), хранить их рисунки, даже писать стихи о них. «Мой знакомый Пикассо...» — это стихи о рисунках моего сына Алеши.

## «ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОНЮТ!»

Во время войны мы эвакуировались из Москвы в Иркутск вместе с авиационным заводом, где работал мой отец. Поселились мы на Болотном участке — так называлась застройка из двухэтажных бараков, действительно, на болоте, так что вместо тротуаров были настланы деревянные доски. Мимо пролегал тракт — булыжная дорога с глубокими кюветами. Однажды мы играли у дома, и дети закричали: «Заключенных гонют!» И я вместе со всеми подбежала к тракту. Из кювета мы смотрели на медленно приближавшиеся серые колонны. Помню шорох от шарканья многих ног. И мое потрясение оттого, что это были обыкновенные уставшие люди. Не знаю, чего я ждала.

Я рассказала Варламу Тихоновичу об этом детском воспоминании, и он был взволнован до крайности: именно «гонют», именно серые. И рассказал, что Иркутлаг был одним из крупнейших лагерей.

Потом мы, москвичи, часто встречали длинные колонны заключенных, и уже не удивлялись, не бежали навстречу, это было обыкновенно.

Ту первую встречу я помнила всегда. Значит — знала. Но это мне не мешало верить в справедливость и доброту мироздания к человеку. Верить даже не на интеллектуальном, а на каком-то биологическом уровне. Может быть, оттого, что во мне, как и в Варламе Тихоновиче, гены древнего священнического рода. И хотя я, как и он, неверующая, но на каком-то генетическом уровне во мне закрепилась вера в добрые высшие силы. Варлам Тихонович писал мне: «Мы очень с тобой похожи». В этом мы действительно были похожи.

Есть и еще один исток «похожести» — мы оба выросли на книгах, на литературе XIX века. Об этом мне В. Т. сказал в одну из первых же встреч.

Если тщательно проанализировать стихи и прозу Варлама Тихоновича, то обнаружится в нем даже не вера — структура души, сознающей свое единство с вечной и высшей силой. В «Вишерском антиромане» он писал: «Идеальная цифра — единица. Помощь

«единице» оказывает Бог, идея, вера... Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице — вот о чем я раздумывал в 95 камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы...» Это было в 1929 году.

Он и прошел свой путь «единицей» — в первой, главной ипостаси своей личности.

## КОШКА

Кроме моей подруги еще одно существо оказало мне протекцию при знакомстве с Варламом Тихоновичем. Я сначала не оценила всей важности этой рекомендации, и когда большой кот настойчиво стал тереться об мои ноги, я небрежно погладила его ногой. Тогда он вспрыгнул мне на колени и стал бодать мои руки, и я его согнала без всяких церемоний, чтоб не мешал. И удивилась, когда Варлам Тихонович растроганно сказал: «Не подходит к чужим». Он рассказал мне о другой кошке, о кошке Мухе, которая погибла в 1965 году. «Ближе ее не было у меня существа никогда. Ближе жены...» Муха гуляла с ним вечерами, как собака. Сидела на письменном столе, когда он писал. Существо, которое не мешало, но любило. Когда кошка пропала, Варлам Тихонович искал ее всюду, даже там, куда свозят пойманных животных. Он рассказывал об этом, дрожа всем телом. «Я вошел, меня всего трясло, там в клетках на стеллажах сидят кошки — и молчат. Все молчат. Они все поняли и готовы умереть. Я звал ее, но ее там не было». Рабочие, что-то ремонтировавшие во дворе, сказали Варламу Тихоновичу, что закопали утром убитую кошку. По просьбе В. Т. они ее выкопали. В. Т. ее вымыл, высушил на батарее, простился с ней и похоронил.

Мне было жаль его бесконечно и жаль Мухи. В моем детстве остался мой любимый, тоже погибший друг — дворняжка Дек. До сих пор он мне снится. Его карие, сияющие любовью глаза. И я, просыпаясь, думаю, что не может такая великая любовь пропасть из мира бесследно.

Варлам Тихонович понял серьезность моего сочувствия. «Людям далеко до кошек, — сказал он, — но вы — можете быть кошкой». Вот такой комплимент я получила, и только потом поняла, что это был очень большой комплимент.

## ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ БЕСЕД

Я стала часто бывать у Варлама Тихоновича. К моему приходу он заготавливал узенькие полоски бумаги, где записывал, что надо мне сказать. Некоторые и сейчас сохранились в его бумагах. И я попадала буквально под ливень рассказов. Рассказчиком он был прекрасным, так что перед моими глазами прямо оживали куски его прошлого. «Я почему-то все прямо вижу», — сказала я однажды. «Оттого, что я вижу это сам». Я и сейчас слышу, как понижается его голос и замедляется речь, когда рассказ достигает кульминации, прищуриваются и сверкают глаза, а поза становится напряженной. И вот уже почти нараспев: «Но-о он не взял коробку...» (Он рассказывает мне о Г. Г. Демидове, эпизод, описанный в рассказе «Житие инженера Кипреева»). Пауза. И дальше — как выстрел — «Американские обноски я носить не буду». Пауза.

Почти все его рассказы, особенно написанные в 1966 году и позднее, я слышала от него, а потом читала. Он шутя, а порой и почти серьезно называл меня соавтором, даже написал это в посвящении сборника «Воскрешение лиственницы». Истинно здесь только то, что мое восхищение его прозой, моя готовность слушать стимулировали как-то его творческий поток. Не раз говорил он мне, как дорога ему возможность «высказаться» до дна. Были у нас и споры. Я упрекала его в порой затянутой, на мой взгляд, экспозиции, в излишнем философствовании. Это должно уйти в подтекст, говорила я, в эссе.

Мне казалось, что это от неутоленной жажды высказаться. Оттого, что в рассказ шло все — и то, что должно идти в эссе, в мемуары, в письма. Слова вылетали под напором невысказанных мыслей, чувств. «Все мои рассказы прокричаны...», — писал он мне в 1971 году. Так это и было.

В момент рождения именно высокий эмоциональный накал не давал возможности контролировать поток. А потом он редко возвращался к записанному рассказу.

Наверное, я была неправа — ценность его прозы — в ее первозданности, в первозданности чувства, мысли, слова, в запечатлении самого момента проявления души.

Между ним и читателем нет даже едва ощутимой преграды, отстраненности, нарочитости литературного стиля, читатель прямо вступает в поток непосредственного общения с его душой. Тут литературность, в самом деле, могла только помешать. А уж он ли не знал, не обдумал до тонкостей литературных приемов!

А я ему говорила, что надо немного редактировать себя — кое-что отделать, поправить после того, как рассказ записан. Он очень огорчился, и в ответ мне написал как-то целое эссе, отстаивая «свободное проявление души писателя» как творческий метод.

«Каждый мой рассказ — пощечина сталинизму и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера... В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора — наиболее удачные рассказы написаны набело, вернее, переписаны с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть...

Все, что раньше — все как бы толпится в мозгу и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную и сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа... Пощечина должна быть короткой, звонкой... Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа... Для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым своим словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то, что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому по-своему. Если рассказ доведен до конца, такое суждение появляется» (1971).

Уже после смерти Варлама Тихоновича я горько упрекала себя, что не записывала наши беседы. Но потом, прочитав его записи, все написанное им, я поняла — он-то записал почти все.

Я думала тогда, думаю и сейчас, что Шаламов шел новым для русской прозы путем.

В русской прозе современной сильнее других, пожалуй, классическая толстовская традиция. Солженицын — весь в этой традиции. Безусловно, очень почтенная и почитаемая традиция. И критики к ней приспособились — типы, психологизм, сюжетные линии, их пересечения, голос автора...

С этой меркой к прозе Шаламова подойти нельзя. Как нельзя в строе психики золотого XIX века осмыслить Хиросиму, Освенцим и Колыму.

Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это — его большой вклад в русскую литературу. Предельная сжатость рассказа, словно заключающая в себе пружину, которая остро распрямляется в сознании, в сердце читателя. Одна фраза из «Одиночного

замера»: «Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день» — войдет в память на всю жизнь.

Он показал жизнь и психику запредельную, за рубежом добра и зла, и только так ее можно было показать — без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, лишние слова здесь кажутся кощунством. Сурово, лаконично, точно. Лаконизм этот — спрессованный до предела гнев и боль автора. Эффект воздействия его прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика, кажущегося спокойствия повествования и взрывного, сжигающего содержания.

Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна. Он писал мне в 1966 году: «Ты даешь мне сознание моего маленького места в жизни...» Маленького — это уже от гордости.

Я ценила его прозу больше, чем его стихи, и это его очень обижало. А мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы — нет в них ничего особенного». Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал. Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозы совсем мало.

## ВОЛОГДА

В 1968 году, летом, я побывала в Вологде. Побывала в доме у Софийского собора, где прошло детство Варлама Тихоновича, побродила по Шаламовской горке. А ему привезла фотографии и (сознаюсь в этом варварстве) кусочек собора, который отколупнула от цоколя. В это лето Варлам Тихонович мне написал:

8 июля 1968 г.

«...Я думал, город давно забыт, встречи со старыми знакомыми<sup>1</sup> никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали — после смерти матери все было кончено, крест поставлен на городе... А вот теперь, после твоей поездки — какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже

---

<sup>1</sup>Художником В. Н. Сигорским и его женой, уроженцами Вологды.

заходила в парадное (так оно раньше называлось) крыльцо с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом. Просто сказка. Белоозерский камень мне потому менее дорог, чем камень от собора, что на Белоозере я никогда не был, а у Собора прожил пятнадцать лет. Деревьев там не было (с фасада дома). Никогда. Было гладкое поле, дорога. Куст боярышника под окнами. А дерево — тополь — был на дворе сзади дома...»

Так начался поток воспоминаний — «Четвертая Вологда». Не буду ее пересказывать, она известна читателям. В те годы В. Т. почти непрерывно рассказывал о своем детстве, но кое-что в повесть не вошло.

«Я не любил своего отца», — говорил Варлам Тихонович. Вряд ли это отношение было однозначным. Скорее — тут неизбежное столкновение двух одинаково твердых и страстных характеров. И не таким уж страшным деспотом был отец — он не заставил ни одного из сыновей избрать духовную карьеру, хотя и хотел этого, не препятствовал свободному времяпрепровождению сыновей и дочерей, не навязывал знакомых. Да и кухонные занятия матери — обычная и неизбежная вещь в небогатой семье.

Летом 1989 г. я вновь побывала в Вологде, поработала в вологодских архивах, чтобы немного разобраться в родословной В. Т. Смущало меня зырянское, по словам В. Т., происхождение отца («шаман», «полузырянин»). Выяснила я, что Тихон Николаевич — сын и внук священника, а корень этого разветвленного рода идет из Великого Устюга. В «устьсысольскую глушь» попал лишь отец Тихона Николаевича — Николай Иванович, а дед Иоанн Максимович Шаламов происходил из городского священства, хотя и служил к концу жизни в приходской церкви Устюжского уезда. Семья Тихона Николаевича была отнюдь не бедна: он получал ежегодно пенсию за службу в Северо-Американской епархии 1350 р., оклад соборного священника 600 р., кружечный доход около 250 руб. По дореволюционным ценам это был небогатый, но приличный доход.

Кухонные занятия матери — это, конечно, уже послереволюционная пора.

Варлам Тихонович без слез не мог вспоминать о матери и сестре Наташе. Но кто из женщин не тащит этот воз — семейное хозяйство. И мать на кухне, и Наташа над корытом — это еще не трагедия. Но деньгами в семье распорядилась мать, охотничьи трофеи делила мать... Не так уж задавлена была мать отцовской волей, если смогла потом удержать рухнувшие своды вселенной над своей семьей.

Скончался Тихон Николаевич 3 марта 1933 года, а мать — Надежда Александровна 26 декабря 1934 года, оба — в возрасте 65 лет.

Своей семье многим обязан Шаламов — несгибаемой нравственной твердостью и силой духа, которую можно принести только из детства, когда создается, рождается личность. И щепетильная честность, и гордое стремление к независимости.

Как презирал он интеллигентские московские поборы на бедность опальным. «Три рубля даст — и уже в прогрессивном человечестве. Три рубля за вход — и уже твой благодетель». Вспомнишь его слепого отца, ходившего сражаться за бога, и мать, в одиночку борющуюся с нищетой.

И о брате Сергее. Есть у Варлама Тихоновича четверостишие:

*Зови, зови глухую тьму —  
И тьма придет.  
Завидуй брату своему,  
И брат умрет.*

Старший брат, Сергей, признанный лидер вологодских мальчишек. Лучший охотник, самый отважный пловец, строитель «Шаламовской горки». Мальчишечье благоговение было в интонациях Варлама Тихоновича, когда он рассказывал о брате, о его неограниченной власти над мальчишками. И этот эпизод, когда какой-то парень на ледяной горке сказал ему, малышу:

— Подвинься-ка, пацан.

А его провожатый (и В. Т. принимал крайне забавный вид холодного достоинства, а губы его подергивались от предвкушения веселого торжества) сказал медленно и веско:

— Это не пацан. Это брат Сережки Шаламова.

Была какая-то детская зависть к брату, всеобщему любимцу. «Я хотел быть в детстве калекой, больным». «Зачем?», — удивилась я. «Чтобы меня любили».

Может быть, было какое-то предчувствие у родителей. Смерть ходила за Сергеем по пятам. И погиб он в 22 года.

Редко относился к мужчинам Варлам Тихонович с сердечной теплотой. С уважением — да. Но не с теплотой. Но Сергей... Я видела эту живую детскую любовь, восхищение, которые связывали В. Т. с давно погибшим братом.

## ПЕВЕЦ

— То, чего я больше всего хотел в детстве — не сбылось, — сказал Варлам Тихонович, — я хотел быть певцом.

Слуха у него не было. И музыку он не любил, не понимал, а вот певцом быть хотел. И такая свежая горечь была в его словах, что я перестала смеяться. Да, он воображал сцену, декорации, овации... Это был живой и громкий успех — то, чего не было в его жизни. Не посмертная слава («на что она мне?»), не где-то существующие читатели и почитатели, а здесь, сейчас — партер, ярусы, обвал оваций.

Он сочинял в юности экзотические песни. «У тебя холодные колени...» («Ориноко»), синеглазые марши, даже исполнял мне их неожиданно высоким и неверным голосом, но — с увлечением. Это было очень смешно и немножко грустно.

## БИМИНИ

Вообще мы часто играли: рисовали друг друга, писали шуточные стихи, чертили подробные планы страны Бимини с бухтами, причалами, дворцами и яхтами. И я рассказывала о необыкновенных нравах этой страны: когда там расстаются, например, то без слов — только пошлют друг другу цветок. «Два корабля и три дельфина» — это с карты страны Бимини. В его стихах осталась она, «как тайнопись, которой маги заворожили свой секрет...»

*Но в мире преувеличенья,  
В обличьи сказок и легенд,  
Она сама была леченьем...*

(«Она ко мне приходит в гости», 1973 г.)

В самом деле, это было целительно. Десять лет я опекала Варлама Тихоновича, и он в эти годы не болел. Узнала я недавно, что мать Тереза говорит — возьми за руку человека. А ведь чисто интуитивно так поступала я. Приду — он зол, издерган, взвинчен. Я просто молча беру его за руку. И он затихает, затихает. И словно проступает другое лицо, другие глаза — мягкие, глубокие, добрые.

Сейчас я думаю: после того ада, который он прошел, как много душевных сил в нем оставалось, что хватало их на мои игры — чудеса и паруса, дельфинов и викингов.

## «С ТЮТЧЕВЫМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Многие стихи рождались на моих глазах. Расскажу еще об одном стихотворении.

*Грозы с тяжелым градом,  
Градом тяжелых слез.  
Лучше, когда ты рядом.  
Лучше, когда — всерьез.*

*Нынче прошу прощенья  
В послегрозовый свет.  
Все твои запрещенья  
Я не нарушу, нет.  
С Тютчевым в день рожденья,  
С Тютчевым и с тобой,  
С тенью своею, тенью  
Нынче вступаю в бой.*

*Дикое ослепленье  
Солнечной правоты  
Мненье или сомненье  
Все это тоже ты.*

*(1968 г.)*

Событийная основа стихотворения, как всегда, реальна: в 1968 году мы праздновали день его рождения, как всегда — по старому стилю, 18 июня: глубокие тарелки с конфетами и яблоками, свежие огурцы, курица — из кулинарии, моя фотография у Вологодского кремля — на столе. И гадание по Тютчеву. Бывало — по Блоку. Но почему-то никогда — по Пастернаку. В июле я уезжала в отпуск с детьми, и ему строго-настроено наказала не жариться на солнце в Серебряном бору: был год активного солнца, а он любил плавать и загорать в Серебряном бору.

Вот об этих моих запрещениях он и написал. Было тогда светлое, счастливое время его жизни, тени Колымы отступили на время. Это лето 1968 года, июнь 1968 года он назвал лучшим месяцем своей жизни. Из письма:

*Москва, 12 июля 1968 г.*

*«...Июнь шестьдесят восьмого года — лучший месяц моей жизни... Если бы я был футурологом, чьи обязанности совсем недавно выполняли кудесники..., я желал бы себе будущего в вечном только что прошедшем июне. Я предсказал бы себе этот июнь, пожелал бы себе только этого июня...»*

Солнечная правота — это правота света, правота счастья.

## ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ЕГО ЖИЗНИ

Немного я могу перечислить имен, которые он всегда, всегда упоминал с глубоким уважением. Александр Георгиевич Андреев — первое из этих имен, политкаторжанин, эсер, с которым он встретился в 1937 году в Бутырской тюрьме. И героя «Колымских рассказов» в его честь он называет Андреевым. Свет славы и подвига народовольцев был на этом имени, свет великой жертвы — всей жизни за идею, за свободу, за свое дело.

Георгий Георгиевич Демидов, физик, с которым Шаламов познакомился в Центральной больнице для заключенных на Колыме. Недавно меня разыскала дочь Демидова, Валентина Георгиевна, и дала мне прочитать рассказы отца. Конечно, это человек Шаламову близкий по духу — твердый, смелый, талантливый, неукротимый.

Это качество — нравственную твердость, верность себе — Варлам Тихонович ценил превыше всего.

Андрей Максимович Пантюхов — врач, заключенный, который спас Варлама Тихоновича, направив его на курсы фельдшеров в 1946 году. Доброта. Действенная доброта — вторая главная добродетель по шкале ценностей Варлама Тихоновича.

Конечно, были просто люди близкие, с которыми Варлам Тихонович годами поддерживал отношения, ценил их дружбу, часто о них мне рассказывал. Многие из них также побывали в заключении. С некоторыми я познакомилась.

Моисей Наумович Авербах, часто помогавший Варламу Тихоновичу в житейских делах, Леонид Филиппович Волков-Ланнит, знакомый с В. Т. еще по 20-м годам, литератор, Галина Александровна Воронская (Галочка Воронская, как всегда называл ее Варлам Тихонович, дочь А. К. Воронского), ее муж Иван Степанович Исаев (он провожал Варлама Тихоновича в дом инвалидов), Аркадий Захарович Добровольский, сценарист, знакомый В. Т. по Колыме, умерший, как и он, в доме инвалидов, Борис Николаевич Лесняк и его жена Нина Владимировна Савоева, врач, на Колыме много сделавшие для спасения В. Т., Валентин Валентинович Португалов, поэт, также «колымчанин», Столярова Наталья Ивановна, дочь Натальи Сергеевны Климовой, народоволки, героини рассказа Шаламова «Золотая медаль», Гродзенский Яков Давыдович, Шрейдер Юлий Анатольевич и некоторые другие. Очень тепло говорил всегда Шаламов о сестре своей первой жены — Марии Игнатьевне Гудзь.

Особого рассказа требуют отношения Варлама Тихоновича с Б. Л. Пастернаком и Н. Я. Мандельштам.

## Ю. О. ДОМБРОВСКИЙ

Варлам Тихонович еще в 1966 году дал мне «Хранителя древностей» и сказал: «Лучшая книга о тридцать седьмом годе». Я прочитала и удивилась какой-то колдовской, завораживающей силе этой книги. Все еще вроде обыкновенно — слова, события, но вдруг становится страшно. Что-то страшное, холодное, мерзкое, как удав, вползает в жизнь.

Я захотела увидеть этого человека. И познакомилась с ним вскоре, пришла к нему в гости на Б. Сухаревский, где Ю. О. тогда жил. Я застала кипу черновиков «Факультета ненужных вещей», приготовленных к выносу на помойку. Конечно, я пришла, в ужас, тут же забрала их в ЦГАЛИ. Юрий Осипович с готовностью обшарил свое очень скромное жилище в поисках других рукописей и писем и передал мне кроме рукописей «Факультета» роман «Обезьяна приходит за своим черепом», «Театральные рассказы», повесть «Королевский рескрипт», письма и фотографии. Не нашел он писем Б. Пастернака и М. Шагинян, очень интересных, по его словам, хотя перетряхнул все книги («куда-то засунул, а может быть, унесли»).

Говорили мы с Юрием Осиповичем тогда долго. Он рассказывал захватывающие детективные истории, где фигурировали отпечатки пальцев покойника, блатари и следователи. Но самое замечательное и для меня интересное он сказал о Шаламове: «Тацитовская лапидарность и мощь».

Впоследствии Федот Федотович Сучков передал мне слова Юрия Осиповича: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий». Конечно, литература — не спорт, у каждого свое, не сравнимое с другим, место в ней. Но слово мастера о мастере — большая ценность по гамбургскому счету.

## ТЕАТР НА ТАГАНКЕ

Мы познакомились с Варламом Тихоновичем как раз тогда, когда я переживала увлечение театром Любимова. Прошло много лет, но и сейчас я не помню более яркого театрального впечатления своего, чем спектакль «Добрый человек из Сезуана».

*Плохой конец заранее отброшен,  
Он должен,  
должен,  
должен быть хорошим!  
Звнящий голос Славиной.*

Варлам Тихонович скептически отнесся к моему увлечению. На его фотографии, подаренной мне тогда, в 1966 году, надпись: «Ирине Павловне с искренней симпатией и советом забыть театр на Таганке».

— Это все было, — говорил он мне, — Мейерхольд. Только забыто сейчас.

Но, подчиняясь моему желанию, он стал ходить в этот театр. И с каждым разом — все охотнее. «Павшие и живые», «Пугачев». После «Жизни Галилея» с Высоцким он сказал: «Давай напишем пьесу для этого театра». От соавторства я, конечно, отказалась, а к пьесам его интерес возобновился. Он стал делать наброски к пьесе «Вечерние беседы». Сюжет ее незатейлив: в тюремной камере встречаются все русские писатели, нобелевские лауреаты: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын. Их гоняют на пилку дров, они выносят парашу. А вечерами они беседуют...

Варлам Тихонович увлекся театром. Ходили мы и на «Дни нашей жизни» в театр Пушкина, и на «Интервенцию» в Театр сатиры. Это были пьесы, запомнившиеся Варламу Тихоновичу еще в молодости. Но сейчас спектакли его разочаровали, наверное, тогда он их воспринимал ярче, непосредственнее, в долгие бестеатральные годы он сам их обогатил и украсил в воспоминаниях.

Не любил он МХАТ, все это жизнеподобие на сцене — сверчки, чаепития и т. п. Театр есть театр. Театром он и должен быть. И четвертой стены у него нет. О Мейерхольде, Вахтангове, Таирове говорил всегда с увлечением. Величайшей актрисой считал Алису Коонен.

Жаль, что он не дождался ни постановки своей пьесы «Анна Ивановна» на сцене, ни экранизации своей прозы. У него было, как мне кажется, сценическое чутье.

## КИНО

Зрителем Варлам Тихонович был увлекающимся, благодарным. В кино ходить любил, любил пересказывать фильмы. При этом из-за плохого слуха он некоторые реплики слышал по-своему, почти всегда — ярче, выразительней, чем они звучали на самом деле. Однажды я пыталась его поправить, но он только огорчился. Из фильмов, которые он видел в юности, чаще других он вспоминал «Дети райка». Из фильмов последних лет — «А зори здесь тихие», «Генералы песчаных карьеров»... Помню, как он был тронут до слез

сценами похорон возлюбленной в «Генералах». Ее погружением в зеленатоватую глубину океана, как в бездонную вечность.

Любовь, разлука, смерть — все, что апеллировало к сердцу зрителя, находило отзвук и в сердце В. Т.

## «КАК НА ВЫСТАВКЕ МАТИССА»

Так начиналось стихотворение «Кто-то сердце крепко стиснет...» (1969 г.). «Волны Стикса» появились в нем по настоянию редактора, которому показалось незачем испытывать сердечную недостаточность на выставке выдающегося французского художника.

Тогда мы вместе были на открытии выставки, было много народу, духота, и Варламу Тихоновичу стало плохо: вижу, он бледен, и пот выступил на лбу. Но упорно и твердо говорит: «Все хорошо. Хорошо». С трудом его увела в другой зал, усадила, и он отдышался, пришел в себя. А потом написал стихотворение об этом.

Мы часто бывали на выставках — Матисс, Роден, Петров-Водкин, Пироманишвили, Фальк, Пикассо, Ван Гог, Врубель... Просто ходили в Третьяковку, в Пушкинский музей.

Он не любил живописи передвижников. Считал ее дурной литературщиной. У живописи свой язык — краски. Вот ими и должна выражать себя душа художника.

Помню, на выставке Петрова-Водкина мы спорили перед его «Психологической атакой», где люди с перекошенными лицами устремились вперед — убивать себе подобных, а убитый, приложив руку к сердцу, словно не падает, а отрешенно взлетает, и лицо у него — единственно человеческое среди всех.

У этой картины я сказала Варламу Тихоновичу, что и сюжет в картине важен, и он выражает мысль и душу художника. Варлам Тихонович яростно стал возражать мне, что будь на этой картине только зеленая и красная краски — без сюжета, она волновала бы также.

Так же спорили мы и на выставке Родена у скульптурного портрета Бальзака. Варлам Тихонович утверждал, что портретное сходство с оригиналом совсем не нужно. Важно передать душу, ощущение художника от природы. Я же говорила, что лицо и передает нашу душу. Что через тысячи лет нас волнуют черты реальных людей в фаянсовых портретах больше, чем вневременной лик сфинкса. Сейчас, вспоминая лицо Варлама Тихоновича, я радуюсь, что некоторое сходство имеет и скульптурный портрет Ф. Сучкова, и

живописный Б. Биргера, и кажется, что именно этим сходством уловлена и какая-то частица души.

Самым любимым художником Варлама Тихоновича был, пожалуй, Ван Гог, а любимым полотном — «Прогулка заключенных». Думаю, что тут действовали не только краски, но и сюжет. И то и другое — и «что», и «как».

## КНИГИ

По молодости лет тогда я любила порассуждать на отвлеченные темы, читала Ницше, Шопенгауэра, восточных философов. Читала как поэзию, запоминая наизусть некоторые фразы, поразившие меня. Конечно, и бедному В. Т. я навязывала свое философствование. Он даже попросил меня принести ему «Мир как воля и представление», но вернул нечитанным: «Нет, как-то не идет». Он больше любил разговоры о человеческих судьбах — о взлетах удач и ударах неудач, о стойкости и гибели. Часами рассказывал он мне о Че Геваре, так что и сейчас я ощущаю сырость сельвы и вижу человека, фанатично продирающегося через нее.

Любовь. Слава. Смерть. Через эти три точки обязательно проходил каждый его рассказ. Виктор Гюго, Федор Раскольников, Лариса Рейснер, Борис Савинков... О каждом он рассказывал так, словно был очевидцем его жизни. Серию ЖЗЛ он собирал при случае. Вообще основой его библиотеки были словари, Библиотека поэта, ЖЗЛ, конечно, любимые книги — Достоевский, Гоголь, Пушкин, мемуары, научно-популярная литература. Книги значили в его жизни очень много — это был его мир, его собеседники. Часто именно книги давали первотолчок его стихам, особенно в 70-е годы.

Когда он стал плохо видеть, книги очень быстро стали растаскивать, даже люди интеллигентные, вроде бы, не считали зазорным это книжное воровство. К моменту его переезда в пансионат почти ничего не осталось от его библиотеки.

## ЛИТЕРАТУРА

Варлам Тихонович с резким неприятием относился к толстовской традиции в русской литературе. Он считал, что Толстой увел русскую прозу с пути Пушкина, Гоголя.

В русской прозе превыше всех считал он Гоголя и Достоевского.

В поэзии ближе всего была ему линия философской лирики Баратынского — Тютчева — Пастернака. В его любви к Пастернаку

было что-то умственное, если можно так сказать. Варлам Тихонович часто читал что-нибудь из «Сестры моей жизни» и говорил: «Какой взгляд! Я уж не знаю, как это можно, целые новые пласты втащил он в поэзию».

Это было профессиональным восхищением поэта. Но как-то глубоко душевно он любил Блока. Когда он читал Блока, то никогда не говорил о поэтических находках, а словно ощущал что-то свое, душевное свое в Блоке.

Иногда мне казалось — какие-то воспоминания молодости, эхо какое-то себя еще доколымского. Я об этом не выспрашивала — это столь тонкие ощущения, что их не надо высказывать вслух, переводить в слова. Только видела, как молодело, освещалось его лицо.

...И тотчас же в ответ

*что-то грянули струны...*

или:

*Рожденные в года глухие  
Пути не помнят своего...*

Тютчев все чаще лежал на его столе в 70-е годы.

*О как на склоне наших дней  
Нежней мы любим и суеверней*

и:

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые,  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир...*

Были любимые стихи и других поэтов, которые он часто читал: «Черный человек» Есенина, «Роландов Рог» Цветаевой, Ходасевича:

*Играю в карты, пью вино,  
С людьми живу и лба не хмрю,  
Ведь знаю — сердце все равно  
Летит в излюбленную бурю...  
Лети, кораблик мой, лети,  
Кренясь и не ища спасенья,  
Его и нет на том пути,  
Куда уносит вдохновенье...*

Я любила Гумилева. Это В. Т. раздражало. Вся эта Африка, экзотика — это дурной вкус. Хотя «Заблудившийся трамвай» он читал. Я же любила и «Эзбекию», и «Капитанов», и все «Жемчуга». Конечно, весь «Огненный столп». И часто читала Гумилева.

*Белокрылых ведут капитаны,  
Открыватели новых земель...*

И однажды он переписал в Ленинке весь цикл «К синей звезде» и принес мне. Это был лучший подарок. Эта тетрадь и сейчас у меня. Я и сейчас люблю Гумилева.

*Память, ты рукою великанши  
Жизнь ведешь, как под уздцы коня...*

Гумилев гораздо многомернее и глубже расхожего представления о нем. Никто так это не понимал, как Ахматова, которая в своих записных книжках написала: «Гумилев поэт, еще не прочитанный, и человек, еще не познанный».

Мы даже «говорили» друг с другом стихами. Мы оба не любили объясняться.

Где-то в первые годы он показал мне Мандельштама:

*Твоим узким плечам под бичами краснеть,  
Под бичами краснеть, на морозе гореть,  
Твоим детским рукам утюги поднимать,  
Утюги поднимать, да веревки вязать...*

и отвернулся почти со слезами. Это — его всегдашнее острое сочувствие женской доле. Я, правда, не ощущала ее как страдание и считала нормой и счастьем отдать себя детям, любимым. Тогда — это свойство отдавать, расточать себя казалось мне неисчерпаемым. Потом я убедилась, что физические и, главное, моральные, душевные силы имеют предел.

Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:

*Суров ты был, грузей ты не искал  
И не искал единоверцев,  
Ты острый нож безжалостно вонзал  
В открытое для счастья сердце...*

А году в семьдесят пятом, он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:

*Ты меня не любишь больше,  
Истина в пяти словах.*

Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках.

## ПАБЛИСИТИ

Сколько громов и молний отсверкало в «Четвертой Вологде» по поводу пресловутого «паблисити», свойственного отцу Варлама Тихоновича! Какой панегирик тряпкам!

Все так. И все не так.

Очень были забавны и трогательны неожиданные проявления этого «паблисити» в самом Варламе Тихоновиче.

«Мой плащ, — серьезно и внушительно говорит он мне, — самый модный». Слово «модный» он произносит с каким-то щегольским прононсом. После паузы, строго:

— Черный плащ.

Речь шла о черной болонье, тогда, действительно, массовой одежде. Этот разговор возникал не раз, явно В. Т. гордился столь модной вещью.

Однажды я пришла к нему году в 70-м, наверное, а он как-то особенно празднично сияя, меня встречает в... ярко полосатых брюках, было тогда такое увлечение у мальчишек, но даже мои сыновья его избегли. В. Т. наставительно, несколько тщеславно, говорит мне:

— Я покупаю всегда самое модное. Самое модное.

Но видит, что на меня его модная покупка не производит впечатления. Он сразу сникает: «Тебе не нравится?» Я бормочу, что, мол, ничего — мне жаль его огорчать. Но брюки все-таки были забыты.

Однажды с волнением Варлам Тихонович рассказал:

— Прихожу в парихмахерскую, говорю, как меня подстричь. А парикмахер отвечает: смотрите, это будет стоить два рубля. Я не понимаю, по-моему, у меня вполне обеспеченный вид. Вполне обеспеченный.

Я его успокоила: конечно, вполне обеспеченный.

Одевался он всегда так: клетчатая рубашка, чешский или польский грубошерстный пиджак в крупную темную клетку или типа букле. Темные брюки, купленные отдельно. Отечественные ботинки. Летом — голубые рубашки навывпуск с короткими рукавами. Зимой — плащевка на меховой подкладке (это тогда стоило дешево), кроличья ушанка.

Помню, с каким удовольствием он вил гнездо, когда переехал в свою просторную комнату на второй этаж дома № 10 по Хорошевскому шоссе с первого этажа, где жил в крохотной комнатке квартиры Ольги Сергеевны Неклюдовой, своей второй жены. Как

обсуждал со мной и покупал скатерть на стол, шторы на окна, мебель — в комиссионке, раскладывал просторнее книги... А когда назначили на слом дом № 10, такими же заботами сопровождалось в 1972 году вселение в очень ему нравившуюся светлую просторную комнату в доме № 6 по Васильевской улице.

Обстановка ее была такова: квадратная комната, окно и балконная дверь, напротив — дверь в коридор, направо и налево от входа по стене — открытые книжные полки, просто крашенные доски, слева стояли полки с «Библиотекой поэта», вообще с поэзией. Далее по левой стене — высокие застекленные полки с архивом, поставленные друг на друга, шкаф для одежды, обеденный стол — почти вплоты к балконной двери и шкафчик для посуды, продуктов — над ним. Перед окном — однотумбовый письменный стол. Далее по правой стене, в неглубокой нише — деревянная кровать, далее — опять открытые книжные полки.

Свой угол, свой дом Варлам Тихонович очень любил. Крохотная территория независимости. А независимость — это главное в жизни, так он всегда говорил.

За это ценил и деньги — за независимость, которую они дают. «Если слава придет ко мне без денег, я выгоню ее за дверь». Но правда и другое:

*И дружба и вражда,  
Пока стихи со мной,  
И нищество и княжество  
Ценою ценой одной.*

## КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Где-то году в 1968-м я пришла к Варламу Тихоновичу, и он сразу, с порога — как открытие, как вывод — очень серьезно и взволнованно, сказал: «Ты — Красная шапочка. В моей жизни были волки, были охотники, а ты — Красная шапочка».

Он очень серьезно относился к мифам, к сказкам, считая, что в них запечатлены какие-то вечные модели отношений между людьми. И эта «Красная шапочка» звучала как найденная формула наших отношений.

Но я всегда торопилась — дети, работа, дом, я только мельком спросила небрежно: «Почему Красная шапочка?» Не вникнув, а кто же он в моей сказке. Бабушка? А кто волк? А кто охотник? Не раз

он называл меня Красной шапочкой. Может быть, за легкомыслие, с которым я пускалась в жизнь — лес, не думая о волках?

Что-то в этой сказке мне близко, хотя красной шапочки я никогда не носила.

*Да будет мне всегда легка  
Неосторожная рука,  
Звнящая в звонок стиха...*

Неосторожная рука... Теперь припоминаю, что Варлам Тихонович часто пенял мне на мою неосторожность. «Я удивляюсь, ты такая ловкая, быстрая — и такая неосторожная». То я влезла дома на две табуретки и с грохотом рушилась, то обдирала колени, сбегая опростетью с эскалатора. Все торопилась. То резала палец, открывая банку. И так же легко, неосторожно справлялась и с серьезными проблемами. Однажды я пришла, а Варлам Тихонович с гордостью торжественно показал мне порезанный палец (он открывал банку): «Как у тебя. Я подумал, что ты бы сделала так же».

## «НИКОГДА НЕ ВОСКРЕСНЕТ ШОССЕ...»

Варлам Тихонович не любил перемен в своей жизни. Труден ему был и переезд на Васильевскую с Хорошевского шоссе. Там был кусок жизни — с 1956 года, там, во дворе, похоронена Муха.

И сейчас, когда я еду мимо места, где был дом № 10, я вспоминаю Муху, которая осталась здесь.

Небольшие, на четыре квартиры дома. Варлам Тихонович говорил, что ему кажется — это просто выгородка на берегу шумной реки — шоссе. Мимо окон всегда с гулом мчались грузовики, но это не мешало Варламу Тихоновичу.

На новом месте он, правда, быстро прижился. Вспоминаю, как мы весело убирали комнату после ремонта, как двигали мебель способом, которому научил меня В. Т. — садиться на пол и, упираясь ногами, двигать мебель спиной. Вселение в новую комнату сопровождалось и инцидентом: оказалось, что Фрунзенский исполком вселил В. Т. на площадь другого района. Ордер не регистрировали в исполкоме. В. Т. не прописывали недели две, я ходила по инстанциям. В. Т. был просто в истерике — он потеряет прописку в Москве, его выселят. В конце концов я пошла в исполком и сказала, что не уйду отсюда, пока дело не решится — я не могу сказать В. Т., что прописка еще откладывается. И бесславно расплакалась, просто убитая всеми проволочками. Дело решилось тут же. Ордер приняли.

Но бедняга — каким он чувствовал себя бесправным. Это ощущение бесправия вошло в кровь его. Сделать с человеком могут все: взять и вышвырнуть из Москвы. И тщетно я уверяла его, что дело только во взаимных амбициях исполкомов — он не верил в это.

## НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА МАНДЕЛЬШТАМ

На стене комнаты Варлама Тихоновича, первой его комнаты, которую я увидела — маленькой, на первом этаже — висели два портрета — Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны Мандельштам. В первом своем письме зимой 1966 года мне В. Т. писал: «Для всех я был предметом торга, спекуляции, и только для Н. Я. — глубокого сочувствия. Но и Н. Я...» (зачеркнуто).

Варлам Тихонович много рассказывал мне о воспоминаниях Н. Я., говоря, что это прекрасная русская проза, это глубокий и точный взгляд на время. Даже говорил, что Н. Я. не уступает в талантливости своему мужу. Надо ли говорить, что я заинтересовалась этой необыкновенной женщиной и попросила меня с ней познакомиться. В. Т. обычно еженедельно бывал у Н. Я. Иногда с раздражением упоминал о «людях с кухни Н. Я.» (кухня, как я убедилась впоследствии, была гостиной Н. Я.).

Наконец в ноябре 1966 года я, по рекомендации В. Т., познакомилась с Н. Я. Сначала она мне показалась очень некрасивой, даже неприятной, но потом совершенно очаровала умением вести беседу, умом, тактом. Я не встречала более интересного собеседника. Видимо, с каждым она умела говорить на интересующие его темы. И со мной она говорила о детях («ведь я — педагог»), о литературных знакомых О. Э. и своих... Скоро В. Т., неудержимо расплываясь в улыбке, сообщил мне, что я Н. Я. очень понравилась. «И я, — вещал В. Т., — выразил свое глубокое удовлетворение». «Можно бы обойтись и без этого», — сказала я к удивлению и растерянности В. Т.

Думаю, что это был со стороны Н. Я. лишь запуск зонда, чтобы проверить отношение В. Т. ко мне. И это мне не понравилось.

Такая же проба была произведена и со мной. Н. Я. всегда очень высоко оценивала прозу В. Т.: «Я думаю, проза Шаламова — новые пути русской литературы». И вдруг сказала: «В. Т. очень злой». Я удивилась и неожиданности суждения, и самим этим словам. И возразила: «Да что Вы, он очень добрый». И поймала взгляд Н. Я., какой-то изучающий взгляд.

— Ну да, это с Вами он добрый.

И поняла, что это был пробный шар. Такие манипуляции с собеседником мне не понравились. Может быть, это и безобидно, но я не считаю возможными такие дипломатические приемы в частной жизни. С тех пор с Н. Я. мы более ограничивались кругом чисто профессиональных моих вопросов — судьбой архива О. Э., который был у Н. И. Харджиева, у Л. С. Финкельштейн.

Рассказывала Н. Я. и кое-что о себе и О. Э. Теперь, читая отрывки из первого варианта «Второй книги» («Литературная учеба», № 3, 1989), историю разрыва О. Э. с Ольгой Ваксель, сосиски Н. И. Харджиева, которыми кормил он Н. Я. и т. п., я понимаю, что эти отрывки она тогда как бы читала на слушателя. Думаю, что переделка «Второй книги» и уничтожение первого варианта тесно связаны с переоценкой личности Н. И. Харджиева прежде всего.

Мне она говорила: «Подумать только, эти сосиски я не могла забыть все жизнь! Ну, я ему покажу! Он мне сказал — немного пожил бы Мандельштам, у него и другая жена была бы. Подумаешь — жена! А я у него один». Она была в бешенстве. Думается, была она и ревнива, и нетерпима. И, как и собиралась, переписала книгу совсем в другой тональности.

Н. Я. передала в ЦГАЛИ несколько автографов О. Э. («Египетская марка», «Домби и сын», «Теннис»), фотографии. Я ей скопировала то, что было у нас.

В мае 1967 года она настоятельно пригласила меня к участию в операции изъятия архива у Н. Харджиева, обещав все передать в ЦГАЛИ.

«Он может уничтожить рукописи!» Мы ждали во дворе, пока Н. Я. поднялась к Николаю Ивановичу, но наша помощь не понадобилась — он отдал папку с рукописями Надежде Яковлевне.

Однако, это обещание не было ею выполнено. И когда я через полгода крайне бережно напомнила о нем, Н. Я. резко сказала мне: «Какое юридическое право Вы имеете требовать у меня архив? Я отдам его туда, где занимаются Оськой».

Я ответила: «Это Ваше право, Н. Я., и, сохрани Бог, я ничего не требую, я просто спросила, помня Ваше обещание».

Это был наш последний разговор с Н. Я. Больше она не приглашала меня к себе, как прежде, своими маленькими записочками.

Вскоре В. Т. спросил меня (после визита к Н. Я.), обещала ли передать Н. Я. архив к нам. Я ответила, что обещала. Видимо, Н. Я.

говорила с Варламом Тихоновичем на эту тему и говорила с раздражением.

А некоторое время спустя В. Т. спросил меня, что я думаю о Н. Я. Я сказала, что она умница, редкая умница, но ей немножко не хватает благородства. И В. Т. вдруг стремительно заходил по комнате:

— Много, много благородства там не хватает. Я сказал ей, что не могу больше у нее бывать.

Я пыталась его смягчить, убеждала, что ему нужен литературный круг, знакомства, общение, и круг Н. Я. — это интересные люди, это возможность говорить на любые темы, это...

— Не нужен мне никто, — резко ответил В. Т.

В. Т. никогда не действовал половинчато. Рвать — так сразу и навсегда. Так он поступил с Г. И. Гудзь, первой женой, с О. С. Неклюдовой, второй женой, с Б. Н. Лесняком, своим колымским другом, с другими людьми, и с Н. Я. — так же.

Конечно, были и глубокие причины у него для охлаждения дружбы с Н. Я. Как-то еще в начале 1967 года он обмолвился о своих визитах к Н. Я. «Это нужно для моей работы». Думаю, что «нужность для работы» была к 1968 году исчерпана. Да и «болельщицкие», как говорил В. Т., склонности Н. Я. его раздражали, резкое размежевание — кто за нас, а кто за другую команду. Ему было тесно в команде, даже в команде умной, просвещенной, левой. Он не любил команд.

## ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА ГУДЗЬ

Собирая архив Варлама Тихоновича, я познакомилась с Галиной Игнатьевной Гудзь, его первой женой, году в 1969, наверное. Я надеялась, что она сохранила колымские письма В. Т.

Это была милая, обаятельная женщина, небольшого роста, полная, с яркими черными глазами. К этому времени я уже много знала о ней. Они познакомились во время первого заключения Варлама Тихоновича: Галина Игнатьевна приехала навестить своего мужа, тоже находившегося на Вишере, и тут, как рассказывал В. Т., — стремительный роман. Она бросает мужа... «Я считаю, что Галину я любил».

Возвращаясь в Москву в 1932 году, он уже возвращался к ней. В 1934 году был оформлен их брак, а в 1935 году родилась дочь Лена.

Были тогда и другие увлечения у В. Т. Даже сильные увлечения, но любви к жене это не поколебало.

— Я был очень самоотвержен в любви. Все — как хочет жена. Всякое знакомство, ей неприятное, прерывалось тут же.

Ее образ оставался с ним все страшные колымские годы. Ей посвящались стихи из «Колымских тетрадей» («Камея», «Сотый раз иду на почту...», «Модница ты, модница» и другие).

Она связала В. Т. с Пастернаком, переписка с Борисом Леонидовичем шла через Галину Игнатьевну.

Она встретила его на Ярославском вокзале 12 ноября 1953 года...

И оказалось, что через семнадцать лет разлуки (и какой разлуки!) перешагнуть любовь их не может — только память.

Хотя Галина Игнатьевна тоже была в ссылке в Чарджоу с 1937 по 1946 год, а потом бесправно, без прописки жила в Москве, перебиваясь случайными заработками, она не вынесла из испытаний той непримиримости к насилию, которая не укрощена была у В. Т. даже Колымой.

«Давай все забудем, поживем для себя», — говорила она. И не одобряла Колымских рассказов, за которые принялся сразу же после возвращения В. Т.

Для В. Т. это было главным делом жизни.

*Твоей — и то не хватит силы,  
Чтоб я забыл в конце концов  
Глухие братские могилы  
Моих нетленных мертвецов, —*

писал он в стихотворении «Возвращение».

Жить им пришлось опять врозь. Он через день уехал сначала в Конаково, потом в поселок Озерки Калининской области — в Москве ему было жить нельзя.

Дочь его писала в анкетах, что отец умер, училась в институте, вступила в комсомол. И тут является отец, еще не реабилитированный, и принимается опять за старое.

В. Т. с горечью говорил, что даже первую ночь в Москве он провел не дома. Жена боялась привести в квартиру его, нарушителя паспортного режима. Провожая его в Калинин, она утешала:

— Зато как я писать тебе буду! Ну, держись, почта!

— Писать? Опять писать?

Он ждал чего-то другого, безмерно романтически приподняв образ этой милой обыкновенной женщины.

А у нее ведь на руках была дочь, обретенный, наконец, кров, работа. Бросить все и уехать с ним в полную и беспросветную неизвестность и нищету? У кого есть право осудить эту женщину? Кто столь высокого мнения о себе, чтобы требовать от другого — иди на Голгофу?

Пути их расходились неудержимо. Хотя еще и были письма, были встречи... В июле 1956 года В. Т. был реабилитирован. 28 августа он написал Галине Игнатьевне письмо: «Галина. Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись, и на их сближение нет никаких надежд.

Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию, стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. Это я чувствовал с первого часа нашей встречи (зачеркнуто).

Будь здорова и счастлива.

Что есть у тебя из моих вещей (шуба, книжки, письма), сложи в мешок — я приеду как-либо (позвонив предварительно) и возьму.

Лене я не пишу отдельно — за три года я не имел возможности поговорить с ней по душам. Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать».

В октябре того же года он вернулся в Москву и женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, писательнице, и поселился в ее доме. Разрыв этот был нелегок Варламу Тихоновичу. Это было крушением самой дорогой иллюзии, мечты. «Я так метался тогда по Москве. Так метался. Отчего ты тогда не встретила меня? Я так тебя звал, так звал. Горы я бы своротил...»

Я же говорила, что всегда надо помнить, Галина Игнатьевна — это женщина, которая писала по сто писем в год на Колыму.

Уже в 1979 году, тяжело больной, перед отправкой в дом инвалидов, он просил меня: «Привези, привези ко мне Галину. Скажи ей — мы вместе будем делать книжку. Это будет возвращением».

Я позвонила Галине Игнатьевне, но она только оправлялась после инсульта и сказала, что приехать не может. Я позвонила дочери Лене, но она ответила мне: «Я не знаю этого человека».

Я ни в малейшей степени не осуждаю Галину Игнатьевну и Елену Варламовну. В этом случае судья — Бог, как говорится. Варлам Тихонович разорвал с ними отношения жестко и навсегда, и Лена, конечно, почти совсем его не знала и не могла питать к нему дочерние чувства.

Так он и не простился с женщиной, которую любил так долго и так верно.

## БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

Вновь и вновь возвращаясь к Варламу Тихоновичу, вспоминая его слова, его поступки, даже интонации, душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного. Отсюда была и его жажда увидеть, узнать пророка, «живого Будду», как он говорил.

Таким живым Буддой долго был для него Пастернак. Буддой в поэзии и в человеческих своих качествах. И все стремление В. Т. возвести на пьедестал, страстно обожествить живого человека не без слабостей, а обнаружив слабости, столь же яростно свергнуть — тоже было стремлением души, воспитанной в вере.

Переписка его с Борисом Леонидовичем стала предметом нашего обсуждения с В. Т. буквально со второй встречи в 1966 году. Пришлось мне под диктовку В. Т. записывать его воспоминания о Борисе Леонидовиче.

«Пастернак — величайшая поэтическая вершина XX века».

Но к этому времени, к 1966 году, Будда-человек был уже повержен с пьедестала. В одном из писем (к Г. Г. Демидову) В. Т. написал высокомерные слова: «Я хотел сделать из него пророка, но это мне не удалось».

С нотой пренебрежения говорил В. Т. о «покаянных письмах» Пастернака. Б. Л. не проявил душевной твердости, по словам В. Т. Если он пошел на публикацию романа на Западе — надо было идти до конца. Либо ехать на Запад, либо дать оплеуху западному журналисту вместо интервью. Либо это, либо то. Не колебаться, бегать, советоваться, суетиться, то благодарить за премию, то от нее отказываться. «Плащ героя, пророка и Бога был Пастернаку не по плечу».

Бедный, он не думал, что и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды, пусть не столь шумную.

Но об этом, о трагедии 1972 года, о его письме в «Литературную газету», я расскажу отдельно.

Правы ли мы, возлагая на других людей долг быть нашими безгрешными идолами, опорой нашей душе, нашей нравственности, нашей вере? И не в себе ли самих мы должны искать и находить опору, веру, а, если надо, и надежду?

Человек, сложившийся в 20-е годы, Варлам Тихонович часто употреблял аббревиатуры. В его записях 70-х годов, сделанных для себя, разговорах с самим собой, мелькает часто упоминание о «ПЧ». ПЧ — «прогрессивное человечество». Варлам Тихонович, конечно, не имел в виду истинно прогрессивных общественных деятелей, но ту шумную публику, которая бурно примыкает к каждому общественному, в том числе и прогрессивному начинанию. У ПЧ — мало серьезного дела, много амбиции, сенсации, шума, слухов. Оно легковесно — дунь ветерок, и нет пышной и шумной деятельности этих прогрессивных деятелей.

«Я им нужен мертвецом, — говорил Варлам Тихонович, — вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН».

Только годы спустя я убедилась, как прав был Варлам Тихонович, как проницателен. Тогда к этим словам я относилась чуть скептически. Мне казалось, он преувеличивает, сгущает краски, когда говорит, что ПЧ состоит наполовину из дураков, наполовину — из стукачей, но — дураков нынче мало.

Он был прав. И стукачи его сопровождали буквально до смертного одра, до края могилы — меня позже просветил в этом отношении такой проницательный старый лагерник, как Федот Федотович Сучков.

## 1972 ГОД

Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» — к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» — к Н. Мару, в «Советский писатель» — к В. Фогельсону. Приходил издерганный, злой и отчаявшийся. «Я в списках. Надо писать письмо». Я сказала: «Не надо. Это — потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой — не надо».

— Ты Красная шапочка, ты этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и голосам своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике, метался по комнате. Досталось и ПЧ:

— Пусть сами прыгают в эту яму, а потом пишут петиции. Да, да! Прыгай сам, а не заставляй прыгать других.

Я ушла. А через два-три дня В. Т. позвонил и попросил придти. Я пришла и увидела на столе листы с черновиками письма В. Т. в

«Литературную газету». Стала читать, вычеркивая совсем невыносимые пассажи: «меня пытаются представить резидентом...» Опять сказала: «Не надо посылать это письмо». Но не стала решительно настаивать, ведь такие вещи должен каждый решать сам. Просто повернулась и ушла.

А 23 февраля в ЛГ был опубликован краткий вариант этого письма. Для меня это было крушением героя. Я (вообще-то совсем не плакса) ревела целую неделю. Насколько умнее меня был мой сын Алеша, совсем тогда еще мальчик двенадцати лет. Он сказал:

— Мама, как ты можешь судить его, оставлять. Этого я от тебя не ожидал.

Вскоре позвонил В. Т., и я пошла к нему. Он встретил меня, буквально заливаясь слезами, просил у меня прощения, говорил, что он не такой, каким я его себе представляла, что только в яму и должен был свалиться... В общем, тяжелая и грустная была встреча.

Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе. Не мне, конечно, было его судить. Да и кто в своем рассудке мог его судить? Говорят сейчас об «остракизме», которому он был подвергнут. Это, конечно, сплетни ПЧ. Какой остракизм?! Недавно дочь Г. Г. Демидова рассказала мне, в какой ярости был ее отец, когда кто-то при нем осмелился осуждать Варлама Тихоновича за это письмо: «Не вам, соплякам, судить этого человека!» Б. Полевой прислал ему ободряющее письмо. Н. Столярова и Ф. Сучков пришли его ободрить, но он не пустил их в дом.

Все эти ободрения были пустяками для него. Самое страшное — собственное о себе мнение.

Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».

— Ну, — ответила я жестоко, — не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.

И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк. Как сошла с его лица мимика убежденной кафедральности. Я почти никогда не бывала с ним резка. Три раза припоминаю лишь, когда я жестоко обошлась с ним. И жалею об этом.

А книжка «Московские облака» была сдана в набор 17 апреля 1972 года.

Три давления совместились в этом печальном инциденте с письмом: не печатали здесь, грозила полная немота; печатали там — жалкими кусочками, без согласия автора, «спекулируя на чужой

крови»; немалую роль сыграло и раздражение против ПЧ, против этой истеричной, глупой публики, толкавшей его на Голгофу.

Но, написав, что «колымская тематика исчерпана жизнью», он продолжал писать «Колымские рассказы—2». И впереди был 1973 год, который он называл одним из лучших, счастливейших в жизни. В этот год было написано особенно много стихов, несколько толстых тетрадей: «Топор» («Орудие добра и зла...»), «Стихи — это боль и защита от боли...», «Она ко мне приходит в гости...», «Мой лучший год...» и, наконец, «Славянская клятва». Клятва верности себе, делу своей жизни.

## СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Летом Варлам Тихонович любил ездить в Серебряный Бор. Там он купался и загорал. Плавал он хорошо, загорал совершенно неосторожно, дочерна. Изредка мы ездили купаться вместе. Он всегда бывал на том пляже, что на другой стороне Москвы-реки. Как он явно блаженствовал на берегу реки, как упивался своей ловкостью в воде, как остро наблюдал все происходящее вокруг. Рассказ «Жук» — о Серебряном Боре. Вот так, с пристальным вниманием к каждому человеку, к каждой травинке, букашке он всматривался в окружающее.

Однажды по дороге на пляж нас обогнали баскетболисты. Они шли, возвышаясь над всеми, отрешенные от пляжной суеты и о чем-то непонятном спортивном говорили. В. Т. сказал: «Инопланетяне».

Он любил реки, их вечное движение, их разговор. Он не любил холодное, серое Охотское море. Не очень понравилось ему море и в Сухуми, где он бывал у своей сестры, Галины Тихоновны Сорохтиной, в 1957 году.

В 1973 году он вступил в Союз писателей СССР и смог получать литфондовские путевки в Коктебель и Ялту, которыми вплоть до осени 1978 года неукоснительно пользовался. Комфортательная писательская жизнь произвела на него сильное и приятное впечатление. Воображаю, как неуместно выглядел он на закрытом для прочих пляже. В 1974 году, отправляясь в Коктебель, он написал мне литературное письмо: «Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина и Грина...» Это мне не понравилось. Какая-то чужая нота.

Крым я любила нежно. Мы с детьми в 60-е годы не один раз объехали его от Феодосии до мыса Сарыч. И почти вся моя переписка

с В. Т. в 60-е годы — из Крыма и в Крым. Эти старые тропы, заросшие плоскими кактусами, развалины башен, застывшие камнепады, пустынные (тогда) берега. Я просыпалась утром рано, чтобы золотая дорожка от встающего солнца протянулась к моим ногам.

В. Т. не полюбил Крыма, не почувствовал его неизреченной древней прелести. Он не любил природу. Было какое-то глазное, рассудочное общение с ней. Любить — это, мне кажется, ощущать себя частью ее, растворяться, чувствуя свою связь с небом и землей. Он был внимателен к дереву и камню, наблюдателен, использовал природу, ее явления в своих стихах для передачи каких-то оттенков человеческих чувств, но потребности душевного общения с природой у него не было.

### УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

В. Т. спросил меня однажды: «Ты думаешь — в лагере я ругался?» Я ответила: «Нет, наверное».

— Одним из самых отчаянных ругателей я был. И дрался. Тут в трамвае мне на ногу наступили, я такое выдал, что парень в столбняк впал...

Плюха — была его универсальным, хоть и теоретическим средством решения всех проблем.

— Этой сволочи (ПЧ) плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься...

— Встретил Молотова в Ленинской библиотеке. И — не дал ему плюху! Встретил — и не дал!

Даже буквально в последние дни он пытался, размахивая руками, отогнать от себя «наседку» в доме инвалидов: «Уходи, ты мне надоела!»

Плюха — моментальное решение проблемы, а это было в характере В. Т., не терпящем неясностей и проволочек.

— Все ищут во мне тайну. А во мне нет тайны, во мне все просто и ясно. Никаких тайн.

Тайн он не терпел, хотя, конечно, умел молчать, когда надо. Но всякие кивки, намеки, таинственные недомолвки — безмерно его раздражали.

— Я привык с жизнью встречаться прямо. Не отличая большого от малого.

Был у него очень добрый друг и поклонник таланта — Яков Гродзенский. Жил он в Рязани. И была у него страсть объясняться

с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В. Т. жутко раздражался, хотя «Яшку» любил.

Однажды я пришла и застала В. Т. в глубокой молчаливой грусти. (А молчалив В. Т. не был, всегда бурлила и кипела в нем жажда высказаться). «Яшка умер», — сказал В. Т. Было это, кажется, году в 1970-м.

## ЧТО ОН ДУМАЛ О СЕБЕ

Его мнения о себе были столь же противоположны, сколько противоположностей заключал его характер.

Как-то я отозвалась хорошо о Юрии Осиповиче Домбровском. Он обидчиво и очень запальчиво сказал: «Я лучше всех людей!» Потом подумал и поправился: «Лучше меня только ты».

Что главное ценил он в себе: верность, нравственную твердость («не предал никого в лагере, не донес, на чужой крови не ловчил»). Талант. «Я тот сапожник, рожденный, чтобы стать Наполеоном, как у Марка Твена. Я собирался стать Шекспиром. Лагерь все сломал».

Но иногда он впадал в уничижение и говорил иное: что он неблагодарный, капризный, и я думаю о нем гораздо лучше, чем он заслуживает. Что он растоптанный человек, собравший себя из кусков, что он непоправимо искалечен лагерем.

Готовя его рукописи к изданию, я вижу, насколько его стиль выражает его личность. Даже подбор его любимых эпитетов: твердый, лучший, энергичный, любой, высший... Стремление к абсолюту, к невозможной непреложности, к высшей точке...

Таков и ты, поэт.

Страсть и рассудочность, стихия, поток — и самоограничение беспрерывное. Серьезность до последней мелочи. Полное отсутствие чувства юмора. Суеверный. Косноязычие шамана присуще порой его стихам — что-то с трудом пробивается в мысль, в слово, что-то, едва переводимое в слова.

Часто повторял слова — «его судьба не удалась, как и всякая человеческая судьба». Его судьба, несмотря на ее трагизм, оставляет ощущение какой-то пронзительной завершенности. Сбылось именно то, что должно было сбыться при столкновении этого сильного, твердого, несгибаемого человека и государства, и жизни такой, какая она была.

## 1976 ГОД

Жизнь сама подталкивала меня к какому-то решению. Я видела ясно, что и Варламу Тихоновичу нужна, наконец, определенность. Либо я оставляю детей и мужа и ухожу к нему, либо — оставляю его. Я понимала, что ему нужен друг, который целиком посвятит свою жизнь ему и надеялась, что после моего ухода такой друг появится.

Последних жалких слов мы, верные себе, не произносили. Отмечали 10-летие нашего знакомства. И было мне очень больно, но как-то неотвратимо я чувствовала, что все кончено. И сказала: «Ну вот, все кончается так». Он сказал: «Это были десять лет жизни и счастья. Ты подарила мне десять лет жизни».

Потом, в письме из конвертика — «Экстренно, после моей смерти» — я прочитала: «Спасибо тебе за эти годы, лучшие годы моей жизни».

Это не значит, конечно, что мы не встречались больше. Я навещала его иногда, были письма, звонки. И свою книгу «Точка кипения» он прислал мне в октябре 1977 года с надписью: «Моему верному товарищу и другу с глубоким волнением». Приходя изредка, я встречала у него женщину, которая за определенное вознаграждение (которое ему казалось большим, а ей недостаточным) иногда убирала и готовила для него. Но к 1979 году ему уже нужна была не просто приходящая время от времени помощница, а постоянная сиделка.

## 1979 ГОД

В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», — сказал он. Я взяла все. Он спросил: «Как твои дети?» Я помолчала. А он сказал: «Ты думаешь, мне это неинтересно». И заплакал. «Я думал, ты ко мне приходила. Показалось — звонят, я выскочил — никого. Я — к окну, и увидел женщину с двумя детьми. Мне показалось, что это ты, зашла по дороге в зоопарк». Я говорю: «Мои дети уже выросли и не ходят в зоопарк. Они уже выше меня». Но он не поверил, для него я так и осталась молодой матерью, и малыши прижимались ко мне с двух сторон, держали меня за руки.

Я обратилась 17 мая 1979 года к тем, кто изъям часть архива В. Т., и они после переговоров 8 октября 1979 года вернули рукописи четырех сборников «Колымских рассказов» (все это было

документировано). Лишь много позднее, когда я закончила разборку и описание большого архива В. Т., я поняла, что возвращено не все. Но В. Т. уже не было в живых. Похищены были и мои письма к В. Т., к счастью, только письма 70-х годов.

Конечно, похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном, машинописные экземпляры рукописей. Однако возможно, что исчезли и варианты с какими-то разночтениями, которые необходимо изучить в процессе текстологической работы. Пропали также и некоторые толстые тетради со стихами, где заключались первоначальные варианты стихов. Запись стихотворения в такую тетрадь Варлам Тихонович считал истинной датой стихотворения. Утрату этих тетрадей Варлам Тихонович считал невозможной. И я, конечно, виновата в том, что не обнаружила ее сразу же, не разобрала архив сразу.

Конечно, следовало бы этим людям все возвратить в архив, в фонд Варлама Тихоновича, но теперь, в отличие от 1979 года, они утверждают, что рукописи были подарены...

## ПРЕМИЯ СВОБОДЫ

Он диктовал мне стихи, прорвавшиеся к нему сквозь неустойчивую, глухую темноту мира, сквозь косноязычие и скудеющую память:

*Человеческий шорох и шум  
Предваряют мое пробужденье,  
Разгоняют скопление гум,  
Неизбежных в моем положеньи.*

*Это, верно, сверчок на печи  
Затрещал, зашуршал, как когда-то.  
Как всегда, обойдусь без свечи.  
Как всегда, обойдусь без домкрата.*

Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется. Даже лежа он чувствует, что мир вокруг гудит и качается.

*Союз с бессмертием непрочен,  
Роль нелегка.  
Рука грозит, и шаг неточен,  
Дрожит рука.*

Я входила в этот дом, пропахший беспомощной и беззащитной старостью, под блеклыми взглядами старушек и двух мальчиков в

креслах-каталках, я поднималась на третий этаж, открывала дверь 244 палаты. Он лежал, сжавшись в маленький комок, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос — без одеяла, на мокром матрасе. Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас — чтоб не украли. Полотенце завязывал на шее. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно — чтоб никто не опередил.

Здесь ему нравилось. «Здесь очень хорошо. — И очень серьезно, весомо: — Здесь хорошо кормят».

Маленькая отдельная комнатка с широким окном, тишина, отдельный санузел («это очень важно»), тепло, еда — вот этот скудный рай последних его стихов.

*Не буду я прогуливать собак,  
Псу жалко  
Носить свое бессмертие в зубах,  
Как палку.  
В раю я выбрал самый светлый уголок,  
Где верба.  
Я сердце бросил — он понюхал, уволок,  
Мой цербер.  
Кусочек сердца — это ведь не кость,  
Помягче — и цена ему иная.  
Так и вошел, последний райский гость,  
Под своды рая.*

Но и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта, ощущающая большой мир, живо и его неутоленное честолюбие. Он жаждет славы, денег — «золотого дождя»...

1 июня 1981 года я пришла его порадовать — французское отделение Пен-клуба одарило его премией Свободы.

Я подхожу к кровати и беру его за руку, он всегда узнает меня по руке, наощупь.

Он долго и трудно усаживается на стул у тумбочки.

— День, день какой?

— 1 июня, понедельник! — кричу я в бескровное, сухое ухо.

— Час, который час? Але! Час который? Але!

— Пять, пять часов! Премию, премию дали! Премию!

— Премия — деньги! Але! Але! Премия — деньги!

— Во Франции!

Он понимает и теряет к премии интерес.

Я приношу ему том «Колымских рассказов», изданный в Лондоне — мне дал его для В. Т. Гена Айги. Он медленно ощупывает

книгу: «Я понимаю, что издали Там, — говорит он равнодушно, — но ведь должны быть деньги».

Из «золотого дождя» от изданий за рубежом на него не упало и капли, которая облегчила бы его старость. Вот публикация в «Юности» его волнует. Я собрала кое-что из его старых стихов и отдала Натану Злотникову.

— Номер? Номер какой?

Я еще не знаю точно, но кричу наудачу — седьмой. Публикация вышла в восьмом номере. Это была его последняя радость. Он беспокоился, чтобы заказали заранее авторские экземпляры. Это — последний журнал, который он гордо дарил посетителям. А я не взяла, чтоб у него остался еще лишний экземпляр для подарка.

Жизнь его подошла к концу. Страшная жизнь, раздробившая прекрасного, талантливого, страстного человека на кусочки...

Он видел то, чего не видели мы, чего не должны видеть люди, чего не должно быть. И это отравило его навсегда. Тень лагерей настигла его. И кусочки личности, сцементированные волей и мужеством, распались.

И вот — лето 1981 года, последнее лето его жизни, принесшее ему премию Свободы. Он диктует стихотворение, последнее стихотворение обо мне:

*Яблоком, как библейский змей,  
Я маню мою Еву из рая.  
Лишь в судьбе моей — место ей,  
Я навек ее выбираю.*

*Пусть она не забудет меня,  
Пусть хранит нашу общую тайну,  
В наших днях, словно в срезе пня  
Закодирована неслучайно.*

Я всегда приносила ему любимое — яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?» Я говорю: «Нет ее в магазинах». «Ну, сходи сейчас, купи». — «Ее нет, не продают». Он понурился. И, вижу, думает, что мне не хочется идти. Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал, и сам по одному бережно, серьезно укладывал в тумбочку. Они, я думаю, и дали толчок стихам. Всегда какая-то мелочь, деталь включала этот поток стихотворения. И последние стихи из новых (он часто диктовал и варианты старых):

*Я на бреющем полете  
Землю облетаю,  
Всей тщеты земной заботы  
Я теперь не знаю.*

Зиму он не любил никогда. Все аресты его были зимой — 19 февраля 1929 года и в ночь с 11 на 12 января 1937 года. Зимой он часто простужался, болел.

Последний раз я увидела его, когда пришла поздравить с Новым годом. Он, как всегда, узнал меня по руке и, усевшись, уютившись на стуле, продиктовал мне воспоминания о Б. Полевом. Бедная «наседка» металась вокруг, не понимая ни того, что он говорил, ни того, что я писала (я стенографировала). Потом продиктовал последний вариант стихотворения «Голуби». Это было все.

15 января 1982 года его непрочный бедный рай — разрушили — перевели в другой, психоневрологический дом инвалидов. Определенную роль в этом переводе сыграл и тот шум, который подняла вокруг него со второй половины 1981 года группа его доброжелателей. Были среди них, конечно, и люди действительно добрые, чистые, как А. Морозов, были и хлопотавшие из корысти, из страсти к сенсации. Ведь именно из них у Варлама Тихоновича обнаружили две посмертные «жены», с толпой свидетелей осаждавших официальные инстанции.

Бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу. И я не умела это прекратить. Только могла отстраниться. А дирекции пансионата это шоу было ни к чему. Время тогда было другое, а «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя эту сенсацию с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад.

17 января 1982 года он умер. Умер на руках чужих людей, и никто не понял его последних слов.

Были похороны — дело суетное. Чужие возбужденные лица — попавших в сенсацию людей. Много спектакля. Я ему все говорила про себя: «Не бойся, я с тобой». У меня было ясное ощущение его присутствия. Покой был на его мертвом лице. Я положила в кармашек его пиджака наш талисман, который он мне подарил давно («чтоб всегда был с тобой») — маленького моржика, вырезанного из моржового клыка.

Прощай, мой друг.

ЕЛЕНА ОРЕХОВА-ДОБРОВОЛЬСКАЯ

## «ЗА НАМИ ПРИДУТ КОРАБЛИ...»

...Как мне приступить к рассказу о Шаламове, чтобы не было стыдно перед его памятью? Варлам ведь был совсем не обычным человеком. Далеко не каждый мог приблизиться к нему, тем более — стать его другом и знать о нем от него самого. Я даже не знаю никого, кто бы имел право писать о Шаламове. По причине сложности его натуры, взыскательности к людям, к их поступкам, строгости и бескомпромиссности его взглядов, высоты и недоступности этого исключительного интеллекта.

В моей памяти это всегда одинокий, обособленно стоящий в массе людей человек, очень высокий, худой, во всегда коротком для него, наглухо завязанном на спине белом халате, в белой фельдшерской шапочке, сосредоточенно ввинчивающий скрученную сигарку в мундштук. Очень суровый. Нельзя представить себе Варлама смеющимся...

Я увидела его впервые в 1948 году, когда конвой привез меня с сепсисом из лагеря Эльген в больницу ГУЛАГа «Левый берег». Со всех лагерей на Колыме этапы больных заключенных поступали сюда через санпропускник, через дежурных врачей и фельдшера з/к Шаламова. Остался он в моей памяти с того самого момента, как я оказалась в санпропускнике. Я была з/к следующего, послевоенного «набора», науку проходила всего четыре года, а Варлам отсиживал уже второе десятилетие.

Больница «Левый берег» была оазисом в этой пустыне. Для очень многих она была спасением, и каждый мечтал любым способом попасть в нее со страшных приисков Колымы. На то время волею гулаговских вершителей судеб в больнице собрались более-менее достойные собеседники Шаламова — Демидов, Добровольский, Португалов, Лоскутов, Кундуш, Махнач. Двое из них,

Добровольский и Лоскутов, имели уже по три срока. Из всех Шаламов особо выделял моего будущего мужа Добровольского.<sup>1</sup>

О том, что Аркадий Захарович был личностью исключительно интересной и одаренной, говорит сам факт внимания к нему Шаламова. На Левый берег он попал после третьего в его жизни суда, со вторым восьмилетним лагерным сроком. А между этими делами было еще и «дело Грязных» — в лагере на прииске Утином распространялась рукопись «Сталинский социализм в свете истинного ленинизма», автором которой был Грязных, а Аркадий Захарович — его близкий друг и единомышленник. На следствии Грязных решил «отшить» Добровольского, а сам получил «вышку», которую потом заменили десятью годами. В 60-е годы Грязных был у нас в Киеве, уже старым и больным человеком. Борис Грязных...

Но рука доблестных чекистов вскоре еще раз достала Добровольского. Это было в лагере «23-й километр» (от Магадана) в 1944 году. В этом лагере оперуполномоченный НКВД Симановский (я его застала в 1945 году и хорошо помню) хлеб свой не ел даром. У него была хорошо налаженная сеть стукачей, и он раскрыл «контрреволюционную группу» из троих: Добровольского, ленинградской журналистки Владимировой и поэта Ладейщикова. Именно стараниями опера Симановского получил свой третий срок и доктор Ф. Е. Лоскутов.

Вот с таким багажом и свела судьба Добровольского с Шаламовым. Что было за плечами к тому времени у самого Варлама — это мы знаем теперь. А тогда никто не мог рассчитывать на его откровенность: он бы очертил вокруг себя зону молчания.

Аркадий Захарович ко времени моего знакомства с ним тоже был фельдшером — в глазном отделении у Лоскутова. И был человеком большой притягательной силы — чрезвычайно содержательным, выделялся красивой и яркой речью и, несмотря ни на что, отменным чувством юмора. То он влюблен в молодую комсомолку маркшейдера Августу (за эту тайную любовь к з/к ее уволили с Дальстроя), то в мою зав. лабораторией на Левом (меня после выздоровления оставили в службе больницы), то на вечере самодеятельности выступает с головоломными математическими фокусами. Ни одна из этих черт не была присуща Шаламову. Добровольский относился к нему с исключительным уважением, по-моему, даже с некоторой завистью: Вар-

---

<sup>1</sup> Добровольский Аркадий Захарович (1911—1969) — киносценарист, один из соавторов известного фильма «Трактористы». Эти эпизоды жизни лагерной больницы описаны в рассказе Шаламова «Афинские ночи». После-лагерная переписка Шаламова и Добровольского опубликована в журнале «Знамя», № 5, 1993. — Прим. ред.

ламу было известно многое о Пастернаке... В свою очередь у Добровольского было и преимущество, если можно так сказать: Шаламова не интересовали иностранные языки, а Аркадий Захарович на нарах в бараках зубрил английский и французский учебники. Однажды новая начмед в погонах майора отобрала у фельдшера з/к Добровольского иностранную книжку и отправила оперуполномоченному Бакланову. Книжка оказалась историей партии на французском языке. Добровольский заразительно смеялся, вспоминая этот случай. На все этапы он таскал с собой стопки книг. Английский и французский изучил настолько, что потом в Киеве зарабатывал на жизнь переводами в журнале «Всесвіт». Близкий друг Добровольского Яроцкий (Шаламов упоминает его в рассказах) говорил: «Пока мы в лагерях теряли свой интеллект, Аркадий его умножал».

Именно знакомство с Добровольским приблизило меня к Шаламову. Врезался в память такой момент. В санпропускнике Варлам с Аркадием вспоминают своего знакомого Сашу Чаусова, видимо, талантливого поэта, погибшего при попытке бежать зимой на лыжах через Берингов пролив на Аляску. Его поймали вохровцы и обмороженного, в беспмятстве, принесли в санчасть. Добровольский, оказавшийся там в то время, узнал в умирающем Чаусова. Об этом он и рассказывал сейчас Шаламову. Они вместе вспоминали Шашины стихи:

*Ша, мальчишка, не ревь!  
Забрет тебя медведь...  
Он идет на улей боком  
И в молчании глубоко  
Прямо лапой мед берет.  
Прямо лапой: прямо в пасть  
Он запикивает сладь.  
И, конечно, очень скоро  
Наедается, урча.  
Лапа черная у вора  
Вся намокла до плеча...*

Помню еще одну строчку Чаусова о том, как все мы однажды вернемся домой:

*...За нами придут корабли  
И станут, гремя на причале.*

Кажется, в 1954 году, в поселке Ягодное, где мы жили на поселении без права выезда, Добровольский получил от Варлама письмо. Шаламов писал, что его поселили на каком-то полустанке Калининской области. Запомнилась из этого письма такая многозна-

чительная строчка: «Дочь оказалась орешком, который раскусить трудно».

Переписка тогда как-то не заладилась. И хорошо, а то мог бы, пожалуй, и Шаламов оказаться в «группе Добровольского» на суде в 1957 году, когда хватали уже за венгерские дела. Добровольский был человеком, которого доблестные органы никогда не упускали из вида. Ведь могли прибавить срок еще до «дела Грязных», когда к нему на Утином в барак пришел Яроцкий, только что освободившийся. Добровольский так простился с ним: «Ну, Алеша, поздравляю тебя с выходом из малой зоны в большую...» Или когда открыто назвал Сталина «великий хлеборез» (хлеборез в лагере был все-сильным). Или когда мы в лаборатории заговорили как-то о том, почему из такой светлой идеи получился такой мрак, и Аркадий Захарович сказал: «Потому что сценарий задуман был великанами, а разыграли его карлики» ...Ну, а тут венгерские события, «братская рука помощи», а Добровольский говорит — оккупация. По вечерам у нас всегда бывали друзья, был собранный из хлама приемник, шли жаркие споры, и был на этот раз стукач. Так на столе начальника райотдела КГБ Жалкова оказалась магнитофонная запись новогодней речи Добровольского и других его крамольных высказываний. Снова восемь лет ИТЛ, а я осталась с трехлетним сыном. Исправляли Добровольского в лагерях с 36-го по 58-й год, и он часто говорил: «Я прошел полный курс академии социальных наук».

По «венгерскому» делу он был освобожден неожиданно быстро. Наступила уже «эпоха позднего реабилитанса» (тоже Добровольского выражение), и в незыблемом государстве КГБ стали твориться неслыханные дела: из лагеря ему удалось через верных друзей передать письмо в Киев М. Бажану и М. Рыльскому, они заявление Аркадия Захаровича отдали лично Хрущеву, и в Магадан тогда явилась комиссия из Прокуратуры СССР. Был пересмотр дела на стадии предварительного следствия, был поголовный отказ свидетелей (кроме стукача) от своих показаний, были уволены Жалков и магаданский следователь, и Добровольского торжественно восстановили в Союзе писателей. Было ему сорок семь лет, и жить оставалось чуть больше десяти. О своей болезни (облитерирующий эндартериит) он признавался еще в Ягодном. Матери писал: «Укатали Сивку да крутые горки». Он знал, что его ждет (курс медицины он прошел в лагерной больнице у бывшего профессора Казанского университета Аксъянцева), и после возвращения в Киев пребывал в каком-то ступоре. Только переводами зарабатывал.

Шаламову судьба отпустила чуть больше дней, и он распорядился ими достойно. На «материке» они с Добровольским ни разу не встретились, только переписывались. Писал Шаламов и нашему общему колымскому знакомому Ф. Е. Лоскутову, жившему в Ирпене под Киевом. Такое внимание Шаламова значило очень многое.

Федор Ефимович Лоскутов тепло и уважительно упоминается в «Колымских рассказах». Но это такая личность, о которой надо знать как можно больше. Шаламов сравнивал Лоскутова со знаменитым доктором Гаазом, и это, конечно, не случайно. На Колыме о нем говорили: «Федор Ефимович — человек». Его внутренняя красота превосходила внешнюю. Спокойная мудрость, доброта, подвижническое служение долгу распространялись от него на каждого, кто с ним соприкасался. В Магадане, после освобождения, Федор Ефимович был ургентным врачом (по вызовам). Его ценили как специалиста даже начальники, знавшие, что он только что вышел из лагеря. За вызов к ним ему платили, а он эти деньги передавал заключенным в лагеря, куда его тоже вызывали. Это знали все на Колыме. И когда в начале 60-х годов надо было от Магаданской области представить кандидатуру на звание заслуженного врача РСФСР, это звание получил Лоскутов. Среди врачей-коммунистов, жен кэзэбистов — он один, бывший каторжник.

Он был старше всех нас — застал еще первую мировую войну, где был солдатом-фельдшером... На Левый берег Федора Ефимовича привезли уже с третьим лагерным сроком, начиная с 37-го года. «В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам — творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза», — писал Шаламов о Лоскутове (рассказ «Курсы»). Как ни странно, этот добрейший человек считался опасным. Когда в 50-м году в больницу нагрянул генерал Деревянок со свитой, и начальство в панике доставляло ему формуляры обслуживающего персонала с 58-й статьей, и он решал нашу судьбу, надзиратель привел к нему Лоскутова. Генерал перелистал «страшное» дело стоявшего перед ним немолодого человека в белом халате и спросил сурово: «Федор Ефимович, вам не надоело?»

Именно благодаря Лоскутову мир знает теперь Шаламова. Хотя Варлам Тихонович много раз был на волоске от смерти — об этом мы знаем из его рассказов — была с ним еще одна история, о которой он, вероятно, и не знал. Мне рассказал ее в 60-е годы сам Лоскутов.

Однажды на Левом ему донесли, что блатные в туберкулезном отделении проиграли в карты Шаламова — они его не любили. Федор Ефимович немедленно пошел в это отделение к старому вору по кличке «Слепой», который когда-то попал к нему с мастырккой глаз (трофическая язва, вызванная подкожным воспалением), и Федор Ефимович тогда хоть и не вернул ему полностью зрение, но не дал ослепнуть совсем. Вор выслушал Лоскутова и важно сказал: «Ладно, иди, Ефимыч, пусть живет твой лепила...»

Шаламов, повторю, мог не знать об этом случае. Его уважение к Лоскутову и без того было безграничным. После лагеря они не только переписывались, но и встречались. Из письма Шаламова к Лоскутову я запомнила строчки об упоминавшемся выше оперуполномоченном НКВД Бакланове: «Если Бакланову понадобятся свидетели, он может смело обратиться ко мне». Выходит, Шаламов, такой «зубр», а тоже пребывал в иллюзии, что вот теперь призовут к ответу всех хватов и симановских. Как мы теперь знаем, ничего этого не произошло: наши доблестные чекисты разыскивали преступников по всему свету, а своих собственных отправляли на персональные пенсии. Бакланов давно живет в Киеве, не знаю, нуждается ли он в признаниях своих бывших подопечных...

Вспоминаю еще Шаламова таким. Ночью меня по вызову конвоир привел из лагеря в больницу: уже под утро пошла отдохнуть в санпропускник — там можно прилечь на кушетке, там у Варлама всегда были книги... Шаламов включил мне лампу у изголовья, укутал ноги своим кожушком (был у него такой тулупчик белый) и дал «Репортаж с петлей на шее» Фучика... А вот мы, обслуга, все в белом, сидим в тесном санпропускнике, и Шаламов читает лекцию о первой помощи при обморожениях. Стоит высокий, в вечно коротком для него халате, в белой шапочке, речь его, как всегда, литературно красива, изложение высококвалифицированно. После лекции доктор Терелин, бывший главный терапевт дивизии и бывший з/к, встает с громким ворчанием: «Интересно получается — лечению обморожений нас учит фельдшер с лагерными курсами»...

Все, кого я вспомнила здесь и не вспомнила, были прекрасными людьми, чрезвычайно интересными и красивыми. Я была много моложе их, и они были ошеломляющим открытием для меня. Встреча с ними — награда и оправдание моего пребывания в колымском вептеле.

г. Киев.  
Декабрь 1991 г.

## ЕГО ПОКАЗАНИЯ

### I

Более семнадцати лет назад в одной аудитории я сказал, что тюремные и лагерные сроки, предусмотренные нашим законодательством за то или иное преступление, не разумны и, следовательно, зловредны. Они не вяжутся с данными человека, с его психологией и физическими возможностями. Для искупления вины, для понимания того, что преступление непростительно, достаточно одного года, двух или трех лет пребывания под стражей. А если человека приговаривают к заключению на пять, семь или десять лет, то можно быть уверенным, что у этого осужденного начнется изменение психики и, стало быть, неизбежная нравственная деградация. Процесс исправления — осознание своей вины, раскаяние в совершенном проступке непременно перерастает в процесс ожесточения, неприятного по последствиям. А если человек осужден ни за что, — как это долго практиковалось в нашем отечестве, — то скольжение по наклонной, скольжение *вниз*, будет нарастать без конца и может кончиться катастрофой.

Никто, конечно, из слушателей не обратил на мои слова никакого внимания. Мне даже показалось, когда я сел на свое место, что в сером веществе глядевших на меня людей сработала мысль: какую, мол, чепуху несет лысая голова! Ибо чем срок длительней, тем неповаднее открывать рот! Здесь я говорю о политических в кавычках преступлениях.

А совсем недавно близкая Шаламову женщина сказала мне, как более десятилетия назад Варлам Тихонович среагировал на ее восхищение его горением после не годичного, не трехлетнего, а семнадцатилетнего пребывания на колымских золотых россыпях... Шаламов сказал: «Как ты можешь мной восхищаться? Я же совсем

не то, за что ты меня принимаешь! Я же состою из осколков, на которые раздробила меня Колымская лагерная республика...»

С той поры приблизительно и началась интенсивная работа Шаламова над знаменитыми теперь «КОЛЫМСКИМИ РАССКАЗАМИ». Я не буду перечислять названия документальных по существу произведений Шаламова, составляющих названный сборник. Все они целиком и каждое в отдельности есть страстное повествование о *разрушении человека*, превращении его в рефлексирующее животное, думающего только о выживании, о куске хлеба и как бы поспать...

Полное разрушение личности, деградацию человека в условиях Колымы являет рассказ Варлама Тихоновича о бывшем коминтерновском работнике, ставшем на магаданской пересылке *машкой* для паханов-урок, этих верных союзников лагерного начальства. Шаламов не переваривал их как выкормышей ГУЛАГа, как силу, предназначенную обескровливать цепляющихся за жизнь неблатных заключенных. Присказка о плачущем большинстве и паразитирующей на нем горстке недочеловеков родилась не на голом месте.

Вот как обернулось у нас бесчеловечное отношение к человеческому, как любят у нас сейчас выражаться, фактору. Применение в свое время УКАЗА от 07.08.1948 г. наводнило исправительные в кавычках колонии сельскими мужиками и бабами. Их отправляли туда за сборание колосков или оставленных на поле корнеплодов. Они получали за это по восемь и десять лет. Могли ли они быть влюбленными в социалистическое отечество? Я уже не говорю о бесчисленных колоннах зэков того или иного пола, получивших по десять, пятнадцать и по двадцать лет каторги по проклятой, кем-то внесенной в Уголовный кодекс 58-й статье и многочисленным странным аббревиатурам — АСА, КРД, СОЭ, ЧС и т. д. и т. п., применяемым без суда неконституционным Особым совещанием.

Но разрушение человека в сталинский период нашей истории шло рука об руку как в лагерях, тюрьмах и изоляторах, так и по другую сторону стен и колючей проволоки. Есть у Шаламова повествование о том, что рисовали в своих школьных тетрадках дети так называемого вольнонаемного состава северных лагерей, дети офицеров и рядовых надзирателей. Они рисовали охранные вышки, закозыренные заборы, собак и колючую стальную проволоку. Тощее, ограниченное воображение уводило их в сторону от дорог жизни, солнечного безоружного существования...

Один из таких загубленных малышей — в другом повествовании Шаламова — набросился на плохо говорящего по-русски зэка. Он

мастерски расправился с ним, потому что все время слышал крылатое, возможно необходимое во время отпора нацистам, но варварское поздней выражение: **УБЕЙ НЕМЦА!**

Разрушение человека в местах заключения шло в разных направлениях. Одним из них было явление *стукача*, этого бурно разраставшегося сорняка на поле пшеницы, откликнувшегося на призыв «охранительных» сил и проявившего себя в начальных опытах. Бескопытные, бескостные, недалекие существа рассчитывали на то, что сроки их, продолжительные как вечность, им скостят, поскольку они — лагерные осведомители — *свои в госку...*

Конечно, разрушение человека в названные десятилетия, выдававшие, как правило, ложь за правду и приготовившие всеобщий запой и глобальное воровство при Брежневе, не могло быть тотальным. Если бы случилось такое, мы провалились бы в тартарары несколько лет назад. Но мы, слава Богу, все еще топчем землю. И, как мне представляется, по единственно важной причине: в тяжелых условиях *тетки матрены* становятся лучше себя, их пестует беда, она делает их выносливыми не ради награды, хорошего о них отзыва в стенгазетах, а ради личного и общественного выживания.

Борьба за достоинство, за право не быть мокрым местом превращала достойных людей в неодолимую для безнравственных заправил силу... Так было по всему нашему многострадальному государству, включая *загоны* обессмертившего себя ГУЛАГа. Ведь выдержали испытание на мощь духа и совесть ставшие нашей гордостью упоминавшиеся здесь ученые, и такие литераторы, как Н. Заболоцкий, как лауреат Нобелевской премии, написавший повествование об Иване Денисовиче Шухове; как вовсе не известная, промучавшаяся в тюрьмах и лагерях поэтесса Анна Баркова; не сдался и славный романист Юрий Домбровский, назвавший Шаламова при жизни великим русским писателем.

Здесь я прервусь. Мне хочется задержаться на нем, Варламе Шаламове, проработавшем за ежедневную гарантийную пайку и скудный приварок около двадцати лет в гулаговских выгребных ямах и после возвращения на волю еще около тридцати лет.

Мне довелось провожать его прах до Троекуровского погоста и горестно записать в одном из своих карманных блокнотиков несколько наблюдений. Я не стану ради памяти о дне похорон заменять в записной книжке слова, легшие на клетчатые листочки.

«Сразу же после панихиды в церкви Николая на Кузнецях, — говорится в первом абзаце, — один из священнослужителей, переодевшись в алтаре в гражданские тряпки, с пижонистым диплома-

том в руке, легкой походкой направился в прицерковное общее место... Безобидное, естественное действие батюшки покорило меня, настроенного на высокий лад песнопеньями и ладаном, показавшейся мне неуместностью... А когда мы высадились из автобуса у кладбищенских ворот, один из нас обратил внимание на приклеенный к стенке похоронной машины портрет усатого генералиссимуса. Получилось: государственный убийца сопровождал жертву разнузданного террора до места успокоения... И, к печали моей, во время забрасывания землей последнего пристанища автора *горькой прозы*, я обратил внимание на двух вроде бы беседующих между собой «амбалов», стоящих в стороне от сгрудившихся над разверстой ямой людей...»

Над полой могилкой я прочитал стихотворение покойного — «Меня застрелят на границе», которое заканчивается строфой:

*И чтоб короче были муки,  
И чтоб убить наверняка,  
Я отдан в собственные руки,  
Как в руки лучшего стрелка...*

«И верно по этой причине, — говорится далее в карманном моем блокнотике, — в автобусе, возвращающем нас с кладбища к ближайшей станции метрополитена, ко мне подсел сероглазый мужчина лет пятидесяти от роду, представившись доктором биологических наук. Выяснилось: он не читал «Колымских рассказов» Шаламова, но много слышал о них... «Уж не *наседка* ли ты, гусь лапчатый?!» — воскликнул я у входа в подземелье...»

Жаль, что запись моя не продолжилась до поминок на квартире Натальи Владимировны Рожанской, пламенной почитательницы таланта Шаламова. Прекрасная магнитофонная лента с голосом Варлама Тихоновича, читавшего стихи, соединяла в тот вечер сидевших за накрытым столом не с преданными земле останками, а с собирающейся умирать душой писателя.

Свидетельством сказанного являются нарастающие публикации его залежавшихся в архиве *показаний*. Они не многочисленны, но поразительны по силе воздействия. Поэтический антураж в каждом из них минимален: засилье украшений помешало бы бывшему заключенному воспринимать увиденное глазами и подслушанное внутренним слухом не с дальнего расстояния. Простоту изложения диктовали Шаламову условия, в которых он оказался не в роли американского наблюдателя, а действующего лица драмы. По этой причине художественная достоверность прозы его спаялась с подлинной правдой жизни.

На месте профессионального критика и на месте масштабного сценариста, собирающегося при помощи камеры кинооператора повторить не воображаемую, зависящую от фантазии, а существующую в реальности картину заключенной Колымы, я начал бы с высвечивания перевалочной базы Дальстроя — *пересылки*. Именно из нее, из этой гигантской чаши, своеобразного *котлована* почти что суверенной лагерной республики, перекачивались во всех направлениях (в сторону золотых забоев) обезличенные колонны эков. Сюда прибывала и свежая, и перемолотая, превращенная в ничто, рабочая сила железных наркомов самого прогрессивного по тогдашней терминологии государства.

С колымской перевалочной базой людского утильсырья я сравнил бы только московские переполненные до отказа места заключения. И прежде всего с Бутырской тюрьмой, возникшей еще при первых Романовых... Мне выпал жребий находиться в ней с осени 1942 года, во время битвы измученных отступлениями наших солдат с докатившимися до Волги, «ослепшими» от побед, бронированными дивизиями реализаторов идей Ницше.

Разница между пересылками столичными и колымскими заключалась в том, что в головах осужденных на длительные сроки советских граждан, содержащихся на Лесной улице, на Матросской Тишине и на Красной Пресне, теплилась крошечная надежда на случайное вызволение из ставшей судьбой неволи. Подобной иллюзии никто не питал в тифозных и не тифозных бараках колымского Дантова ада, помимо слепых стукачей и признанных за «своих» ссучившихся и нессучившихся уголовников.

На месте сценариста, вздумавшего запечатлеть на киноленте не натуральных, а игровых Васек Денисовых («похитителей поросят») и Колей Ручкиных с Ножкиными вкупе (доморощенных, лагерных «бизнесменов»), я постарался бы обратить внимание зрителей на один из древнейших курьезов — на *способ добывания* благороднейшего из металлов... Неужто на самом деле за каждую вылизанную из песка и вытертую из камня крупницу золота *надо расплачиваться* сотнями человеческих, стоящих не пятак, жизней? А так ведь оно и практиковалось в течение тысячелетий. Но жуткого своего *лика* упомянутый способ *достиг на Колыме* вдоль протянувшегося в сторону Ледовитого океана тракта, похожего на канат и длинного, как бессмертье...

Читая рассказы Шаламова, не можешь не ассоциировать их со «ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ» — смертоубийством «остаточной буржуазной сволочи» в городе Чевенгуре. Но если чевенгуровцы — члены р-революционного комитета во главе с Чепурным — убивали в висок и расстреливали в ухо перепуганных домовладельцев по *классовым соображениям*, то посланные на Колыму потомки пиюсей делали это (изматывая в забоях на голодном пайке) с объявленными «врагами народа» бывшими революционерами, членами Коммунистической партии и беспартийными представителями всех трудовых профессий во имя увозимой на материк валюты и повышения в должности. Поэтому никакая киноаппаратура, в том числе и телевизионная, с ее первыми удручающими планами, не в состоянии без ощутимых потерь, вызванных политическими соображениями, поведать о том, *что вычитывается* из прозы скончавшегося на Абрамцевской улице лагерного Гомера... И какими бы ласкательными эпитетами ни награждали суровую прозу Варлама Тихоновича *легкие на подхват критики*, им не уменьшить ужасного впечатления от шаламовского удара по истинно дорогой для советского человека отечественной истории. Ведь первый очаг чумы появился у нас на несколько часовых поясов западней Магадана. И оставшиеся на воле, сохраняемые до поры до времени, все чувствующие «инженеры человеческих душ» *знали не понаслышке*, что рыба гниет не с хвоста и даже не с середины...

Об этом, собственно, и говорится в печальных повествованиях Шаламова, названных им сокращенно «КР».

### III

Пора, однако, вернуться к начальному периоду жизни Шаламова, закончившейся погребением на Троекуровском (Старокунцевском) кладбище, где скромно возвышается ныне над вязью могильных оград бронзовое лицо с надписью на постаменте:

## ВАРЛАМ ШАЛАМОВ 1907–1982

Между цифрами укладывается *сжавшаяся* в тире жизнь почившего. У Варлама Тихоновича она продолжалась семьдесят пять лет, из коих почти семнадцать — с людьми, которые не смогли возвратиться обратно...

Однажды в одну из полярных ночей на Инте мне пригрезился тусклый дрожащий огонь над плоским захоронением *безымянного* ээка. К счастью для нашей литературы, в конце 1953 года поезд дальнего следования привез сорокашестилетнего писателя в центр государства к вернувшимся из карагандинской ссылки жене и повзрослевшей дочери... Примерно через два месяца Борис Пастернак преподнес ему вышедший в свет собственный перевод «Фауста» с обнадеживающей надписью, что все, мол, с наступлением Нового, 1954 года утрясется и надо, стало быть, «с верой и надеждой жить дальше».

Приятное подношение великого мастера слова будущий автор «КР» получил позже перенесенного им потрясения в одной из квартир раскинувшегося более чем на семи холмах города. Заплечный мешок поэта, сопровождавший его от стылого Магадана до белого от зимы стольного града, взлетел на привычную высоту, как только его хозяин с ужасом уяснил, что юная когда-то супруга, Галина Игнатьевна, и ставшая взрослой дочка Елена сделали в казахстанской степи людьми, с которыми по воспитанному в себе нравственному уставу Шаламов не мог оставаться вместе: они превратились в поклонниц «отбросившего копыта» тирана, именовавшегося в ту пору *гением всех времен и народов*... В. Т. вылетел из квартиры Галины Игнатьевны пулей. И только через четыре года, намучавшись на разных работах в Подмосковье и на Калининщине, и после снятия с него *всех обвинений* — реабилитации, поднимаясь по эскалатору одной из станций московского метрополитена, почувствовал, что корпус его тянется влево и затем в правую сторону, и привычный окрестный шум уменьшает напор, становится тише...

Так началась у него быстро развивающаяся потеря слуха, превратившая с годами пошатывающегося исполина в Бетховена.

Дальнейшая одинокая жизнь поэта и прозаика, имеющая неизбежные чередующиеся подъемы и спады, потекла в упорном литературном труде. «Портфель» его распухал. Рассказы-воспоминания перемежались со стихами, напоминающими дневниковые записи. Между многими классическими по форме и современными по духу стихотворениями однажды явились ему пять строф, включенные позже в самодельном сборнике в «ПЯТУЮ КОЛЫМСКУЮ ТЕТРАДЬ».

*Мне не сказать, какой чертою  
Я свинут с места — за черту,  
Где я так мало, мало стою,  
Что просто жить немоготу.*

*Здесь не людское. Здесь — Господне.  
Иначе как, иначе кто  
Напишет письма Джоюконге,  
Засунет ножик за пальто.*

*И на глазах царя Ивана  
Сверкнет наточенным ножом.  
И те искусственные раны  
Искусства будут рубежом.*

*И пред лицом моей магоны  
Я плачу, вовсе не стыдясь,  
Я прячу голову в лагони,  
Чего не делал отродясь.*

*Я у себя прошу прощенья  
За то, что понял только тут,  
Что эти слезы — очищенье,  
Их также «катарсис» зовут.*

В 1962 — хрущевском — году, скупобно обнаружив «проходную» продукцию, Шаламов явился в редакцию «Сельской молодежи», где я тогда работал в качестве литературного сотрудника и вытаскивал «на гора» прозу Платонова. В ноябрьском номере были опубликованы несколько стихотворений В. Т. Шаламова, не сделавших погоды. С рассказами ничего не вышло. Не прошел и набранный уже невинный рассказик «Серафим».

Года через полтора, не веря в публикацию лучших своих произведений, Варлам Тихонович подарил мне около шестидесяти колымских рассказов. Все они с течением лет разошлись по достойным рукам любителей самиздатской, возникшей стихийно, литературы. Теперь уже можно сказать, что именно ей — преследуемой тогда — выпала честь предугадать гласность... К 1979 году в моем распоряжении из всех колымских повествований остался единственный упоминавшийся выше рассказ — «УБЕЙ НЕМЦА!»<sup>1</sup>.

Такое беспрепятственное, как по маслу, скольжение ДАТ на нескольких страницах скрывает за собой исполненное тревог и всяческих унижений не короткое, а двадцатидевятилетнее послелазгерное существование одного из выдающихся наших современников. Он недополучил от эпохи все ценное в ней и бесценное во все времена, заработанное в поте лица богатство.

Мне вспомнилось сейчас мое вместе с геофизиком В. И. Горбенко посещение Варлама Тихоновича в доме престарелых (что поблизости от станции «Планерная») осенью 1981 года. Он лежал,

---

<sup>1</sup> Имеется в виду рассказ В. Шаламова с авторским названием «Детские картинки». — Прим. сост.

когда мы вошли в двухместную, пахнущую мощами, уютную комнатушку, как все мы лежали беспмятно в материнском чреве, в позе свернувшегося калачиком заключенного, пытающегося удержать остаточное тепло. Это было последнее мое свидание с Шаламовым. Он ощупал ходившими ходуном руками мой облысевший кумпол и, по-моему, не узнал меня.

*Август 1988 г.*

## ТРЕТЬЯ МОСКВА

В 1956 году после реабилитации В. Т. Шаламов смог, наконец, перебраться в Москву. Его предшествующие проживания в этом городе — с двадцать третьего по двадцать девятый и с тридцать второго по тридцать седьмой, также разделенные тюрьмой и лагерем, — были непохожи одно на другое. Его первая, студенческая Москва (о ней он немного рассказал в «Четвертой Вологде») существенно отличалась от его второй Москвы — Москвы середины тридцатых, когда он начал (и довольно успешно) работать как журналист и писатель. Последнее возвращение состоялось почти через двадцать лет. Драматичной оказалась встреча с этой Москвой, уже третьей в жизни Варлама Тихоновича.

Как и в предыдущих случаях, он вернулся, чтобы начать жизнь сначала, но на сей раз — немолодым и больным человеком. Его очерки и рассказы, печатавшиеся в тридцатые годы, были забыты. Даже просто знакомых тех лет сохранилось мало, а в литературном мире его не помнил почти никто. Что касается его поэзии и прозы конца сороковых — начала пятидесятых — а это были стихи «Колымских тетрадей» и «Колымские рассказы» — то их, по условиям времени, знал лишь самый узкий круг друзей. Мастеру зрелому, уже воплотившему в слове свой долгий и страшный жизненный опыт, предстояло вступать в литературу одновременно с действительно молодыми поэтами, скажем, Ахмадулиной или Вознесенским, и общество оказалось к ним — своему будущему — куда более расположенным, чем к отставшим от времени мученикам, обитателям еще недавнего кровавого и постыдного прошлого.

Это касалось не только Варлама Тихоновича. В подобное же положение новичков попали и другие поэты, до середины пятидесятых годов писавшие «в стол», а в своей официальной жизни чаще

всего занимавшиеся переводами. Среди них — такие значительные имена, как Семен Липкин, Арсений Тарковский, Мария Петровых. Их и после пятьдесят шестого года печатать не спешили, хотя, конечно, несколько расширился круг читателей, случались и публичные выступления.

Я хорошо запомнил один такой вечер в старом МГУ на Моховой, в коммунистической аудитории, проводившийся, по моему, 1 декабря 1962 года. Был он, кажется, абонементный, в рамках цикла вечеров любителей поэзии, общества книголюбов или какого-то литобъединения. Вел его Б. А. Слуцкий, а выступали А. Тарковский, В. Шаламов, Е. Благинина и Н. Эскович. Народу было не особенно много, больше молодежь, слушали вежливо — некоторое время, а затем устали и начали просить, чтобы Елена Николаевна прочитала свои детские стихи, и никто, вероятно, не понимал, насколько это жестоко. Она прочитала — «Журавушку». Потом появился какой-то молодой человек и начал декламировать нечто очень длинное про Мурку и МУР. Запахло скандалом, который, впрочем, не состоялся, но меж тем герои вечера были забыты. Они молча сидели на своих стульях лицом к залу, а Слуцкий отвечал — очень откровенно по тем временам — на многочисленные вопросы. По просьбе публики он прочел стихотворение «Бог», обличил как творчески несостоятельного живописца Герасимова, противопоставив ему подлинного художника — Оскара Рабина. И все мы, сидевшие в зале, понятия не имели, что в этот самый день совсем рядом — через улицу, на выставке в Манеже бродит все более распаленный гневом Хрущев и что назавтра ударят очередные — и уже последние — заморозки в нашей первой оттепели.

Да не поймут меня неправильно! Я не хочу бросить тень на Бориса Слуцкого. Он был один из немногих писателей, кто пытался, пока еще оставались какие-нибудь возможности, помогать Шаламову в его литературных делах. Но поэтическим вкусам тогдашних стихолюбов эти четверо немолодых поэтов, очевидно, совершенно не соответствовали. Впрочем, можно ли обвинять людей в отсутствии интереса? Разве что в недостатке воспитания...

Тут были и причины стилистические. В своем отталкивании от литературы двух предшествующих десятилетий (или от того, что выдавало себя за нее) читатель хотел от современной поэзии не только непременно интимной интонации вкупе с неофициозной гражданственностью, но и возвращения к авангардистским формам, развитие которых было некогда искусственно прервано. Я не собираюсь рассуждать о том, как ответили на эти запросы времени

тогдашние молодые. Хочу только сказать, что для Варлама Тихоновича чисто биографически опыт осмысления левого искусства давно остался позади, а язык классического русского стиха, возможности которого пятидесятилетний поэт считал безграничными, был в ту пору неинтересен и эстетически непонятен. А он еще требовал для себя каких-то преимущественных прав на поэтическую речь: «Поэзия — дело седых, не мальчиков, но мужчин!» Это тоже не нравилось.

А как же с лагерной темой, никого не оставлявшей равнодушным? Но в произведениях Шаламова она к читателям просто не попадала. Да, с 1957 года его стали печатать, примерно по подборке стихов в год (в «Юности», «Знамени», «Дне поэзии» и в других местах); вышло и несколько небольших поэтических сборников. Однако издаваемое подвергалось жесточайшему конъюнктурному обезображиванию: последовательно изымалось все без исключения, от стихотворных циклов до отдельных слов, в чем усматривался хотя бы намек на запретную тему. А о публикации рассказов речь вообще не шла.

Тематические изъятия приводили к очень значительным поэтическим искажениям. Вытраивалась главная и лучшая часть шаламовского творчества, которое в результате оказывалось не просто обедненным, но и совершенно изуродованным и измененным. Как, скажем, выглядел бы Тютчев, если у него убрать десяток-полтора лучших стихов? Ведь не просто поэтом неизмеримо меньшего масштаба, но уже и другим поэтом. Так вот, Шаламов, с которым до недавних пор дозволялось ознакомиться, это совсем не тот писатель, каким он являлся на самом деле. Составить о нем представление по публикациям было нельзя. В каком-то смысле они могли сыграть даже отрицательную роль, создавая ложное впечатление о его творчестве.

Но и среди людей, которые знали его произведения в их подлинном виде, многие были во власти предвзятой и искаженной оценки, согласно которой Шаламов был поэтом добротным, но по значению периферийным; привлекательной же была тематика, как бы отделенная от самой поэтической фактуры стиха. Проза вызывала больший интерес, но в Шаламове-прозаике ценился умелый очеркист, летописец Колымы; к его рассказам относились скорее как к документу, чем как к произведениям художественной литературы.

Однако для самого Варлама Тихоновича дело обстояло совсем иначе! Он-то чувствовал себя в первую очередь поэтом, поэзию он

вообще ставил выше всякой другой литературы. И колымские рассказы были для него не публицистикой, а литературой, но такой, где дистанция между фактом и художественным произведением сокращается до предела, не оставляя места вымыслу, где средством обобщения (и обобщения чудовищной силы!) становится именно этот факт. Язык шаламовской прозы, такой простой, почти протокольный, на самом деле тщательнейшим образом выстроен в точном согласии со смысловым, синтаксическим и фонетическим ритмом.

Конечно, писал он колымские рассказы прежде всего потому, что должен был написать их — по велению долга памяти, о котором впоследствии более отчетливо и страстно сказал Александр Солженицын. Однако при этом Варлам Тихонович никогда не ставил перед своими вещами внелитературных задач — воспитательных или просветительских; он вообще отрицал наличие у искусства какой-либо иной роли, кроме естественно обусловленной его природой. И значение, не меньшее, чем долг памяти, имели для него при написании колымских рассказов чисто литературные задачи. Впрочем, тут нет никакого противоречия — именно потому, что поэтика у него накоротко, без последующих звеньев соединена с фактом. В стихах несколько иначе и сложнее. Но и они — «вызревший плод» сполна прожитых ста жизней. Это отчасти объясняет, почему цензурные изъятия, тематические по своим целям, производили столь опустошительные искажения его поэтического облика.

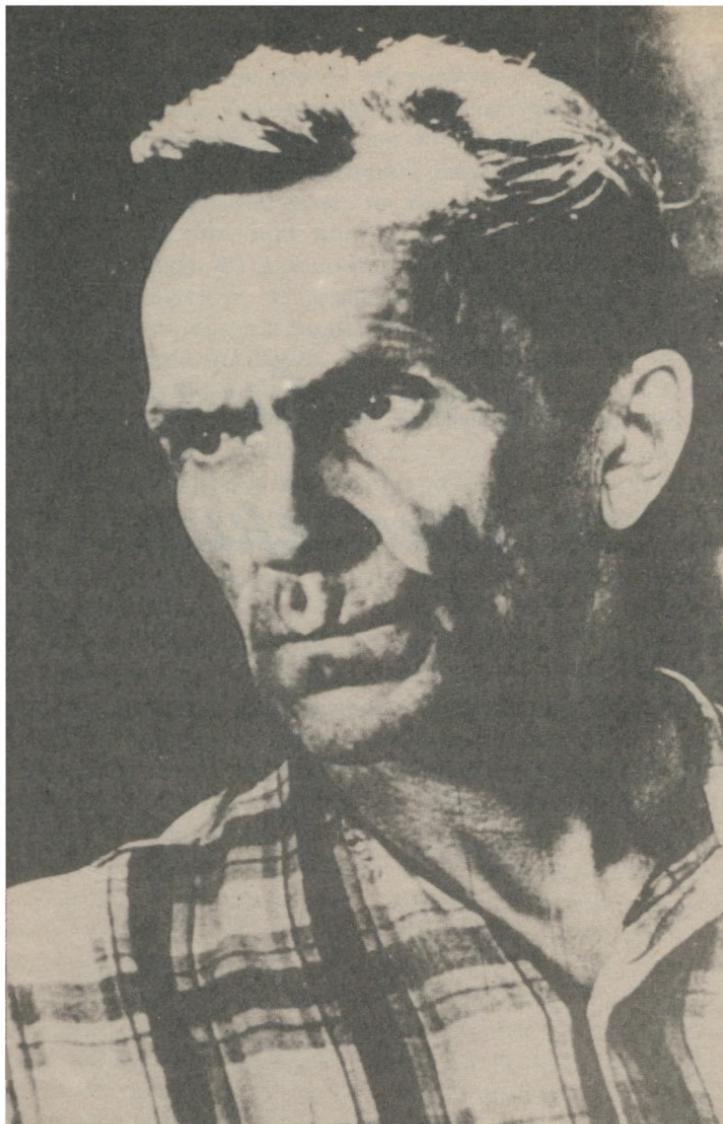
В профессиональную, цеховую среду советской литературы, чванливую, косную, равнодушную, перегороженную разнообразными кастовыми барьерами, Варлам Тихонович входил с трудом. В полной мере он так и не смог освоиться в ней. Надо напомнить, что начинать ему приходилось «с нуля» — в отличие от сходных с ним по поздней литературной судьбе Арсения Тарковского, весьма известного переводчика, или Елены Благиной, также очень известной детской писательницы. «Мы вашего мальчика не будем печатать», — сказал одному из шаламовских ходатаев известный и вельможный поэт (хотя и тоже прошедший через аресты и лагерь). А ведь приходилось еще и зарабатывать себе на хлеб литературной поденщиной — рецензированием «самотека» (так на писательском жаргоне именовался поток рукописей, присылаемых в редакции с улицы, без каких-либо внутренних рекомендаций). В этом качестве, кстати, он одно время сотрудничал в «Новом мире», где ему давали читать рукописи на лагерную тему — как специалисту. Но ни единой его строчки, ни стихотворной, ни прозаической, там напечатано не было, даже несмотря на ходатайство такого крупного для

Твардовского авторитета, как Солженицын. В общем, дальше людской не пускали.

Надо сказать еще об одном обстоятельстве, препятствовавшем вхождению Варлама Тихоновича в литературную жизнь. Он был очень некорпоративный человек, не желавший сливаться ни с какой группой, даже издали и симпатичной ему. Он не хотел стоять ни с кем в одном ряду. Это касалось не только, скажем, Союза писателей, в который он поначалу вступать не собирался по идеологическим соображениям, но и лево-радикальных кругов, как сейчас бы сказали, диссидентских, к которым он также относился настороженно. Ни в каких акциях политического характера он не участвовал; мне вспоминается лишь одно исключение из этого — его письмо по поводу процесса Синявского и Даниэля. Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом, причем не только из осторожности, естественной в его положении. Он хотел, чтобы именно на родине, где жизнью его распорядились столь бесчеловечно, ему не просто разрешили дотянуть и додышать, но чтобы общество признало свою страшную вину перед ним и вернуло ему естественное право поэта — говорить на своем языке правду своему народу.

Борьбой за это он и был занят оставшиеся годы. Когда ему удавалось напечатать разрешенное — часто ценой огромных жертв, он думал, что перехитрил их и одержал маленькую победу. Если это так (а у меня есть основания полагать, что это так), я думаю, он заблуждался. В этой его жизни победили они. А прорыв плотины молчания должен был состояться уже где-то за пределами его земного существования.

*Попытка  
осмысления*



**В. Т. Шаламов. 1965 г.**

## БЕССТРАШИЕ МЫСЛИ

Колымская проза Варлама Тихоновича Шаламова потрясает.

Я долго думал: в чем дело? Не в материале же только. Был уже и «Один день Ивана Денисовича», и «Архипелаг ГУЛАГ», и многое другое — воспоминания, письма, повести, стихи о сталинских лагерях, созданные бывшими «Иван Ивановичами», как называли интеллигентов в тех гибельных краях. Был и фольклор о «чудной планете», сказовый и песенный; были проклятья и упорное молчание очевидцев. Отчего же рассказы Шаламова так переворачивают читательскую душу и так укрепляют в человеческом праве быть свободной и мыслящей личностью?

Все дело, думаю, в удивительной высоте, с какой это написано. В той свободе авторского взгляда, стиля, которая сродни эпическому постижению жизни. «Этот мир реальней, чем гомеровские небеса», — пишет Шаламов. Не из центра ада идет воспаленное свидетельство — такое вообще невозможно, и когда тот или иной литератор пытался это сделать, неправда невольно подстерегала его.

Шаламов-повествователь эпически «спокоен»; он знает про это все и все помнит; он лишен каких-либо иллюзий, и тем убедительнее, тем неотразимее действует на наше чувство, на наше сознание его объективный голос. Кто измерит меру страдания миллионов людей подобной судьбы? Нет такой меры, отвечает автор, но можно и нужно рассказать об этом так, как рассказывают вообще о жизни (антижизни), с ее установившимся «бытом», рабским трудом, борьбой за пайку хлеба, с драмами и предательствами, с беседами о смысле существования, с лагерной моралью и лагерными законами, с национальной и классовой рознью, с миром «блатарей» и «фраеров», с болезнями, смертями, расстрелами. Двадцать лет провел писатель в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, и этот

архипелаг нашел в его лице летописца, художника, создателя огромной трагической фрески, в которой нет открытого гнева и бессильного разоблачительства, а есть *мощная правда страшных норм*, вдохновившей и организовавшей этот адский эксперимент.

«Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи, — ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута.

Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть».

Шаламов не умер, чтобы написать эти страницы и оставить их нам. Его правда о человеке в лагере жестока. По сравнению с ней Достоевский, «Записок из Мертвого дома» автор, кажется буколическим писателем. Двадцатый век дал быт Освенцима и Колымы, который и не снился героям великого русского писателя в их самых апокалипсических снах.

«Заключенный приучается там ненавидеть труд -- ничему другому и не может он там научиться.

Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом.

Возвратившись на волю, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми.

Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.

Оказывается, можно делать подлости и все же жить...

Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает...

Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать...

Он приучается ненавидеть людей».

Я привел эти рассуждения как достаточно редкие для Шаламова, где писатель прямо говорит от своего имени, осмысливая лагерный опыт. Это очень важное место. Без него не понять шаламовской прозы. Смысл лагеря (как и любой организованной государственной преступности) в том и состоит, что он цинично меняет все социальные и моральные знаки на обратные. Другого смысла в лагере для политических нет, как бы они сами искренне не заблуждались на этот счет. Не случайно уголовники постоянно привлекались властью к усмирению сидевших по пятьдесят восьмой статье, к управлению

ими. Добро и зло — достаточно наивные категории, когда речь идет о преступной, хорошо организованной системе.

И все же были, были те, что оставались людьми. Иначе не было бы этой книги, не было бы и других примеров сохранения духовной свободы и морали в самых бесчеловечных условиях. Кажется, что Шаламов противоречит сам себе. «Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-чего стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе страх. Не то, что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определились яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней... Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял, и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина».

Вот где глубинная правда о безвинном человеке, доведенном почти до скотского состояния. Мораль в истинном объеме будет потихоньку возвращаться к нему на свободе, но понсенные потери до конца уже невозможны. Никто не стал моральнее и чище после испытаний ГУЛАГом. Только здоровье и нравственная норма, только социальная и духовная свобода делают человека человеком. Все остальное — от лукавого. В том числе и героический стоицизм, который хорош как абстракция, как философская проблема, но который по меньшей мере некорректен, когда речь идет о миллионах рабов и их лагерном быте. Впрочем, Шаламов оговаривает специально, что он пишет о людях (и о себе в том числе), «не бывших, не умевших и не ставших героями». Поэтому его лагерный эпос поистине народен, пусть и в чудовищно искаженном, обратном смысле этого понятия.

Его колымская проза резко выделяется из потока правдивых лагерных свидетельств *искусством* самого высокого толка. Поэт, художник побеждает и здесь, и потому читатель не просто содрогается от ужаса, гнева или сострадания, но получает огромный заряд эстетического переживания, просветляющего душу, как и бывает всегда при встрече с подлинно трагическим искусством. И душа воскресает для добра и смысла, словно мятая, изломанная ветка колымской лиственницы, о которой так проникновенно рассказал нам писатель.

В автобиографической повести Шаламова «Четвертая Вологда» читаем: «Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, — очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия — прозой». Отточенность стиля, высокая духовно-словесная культура — и в прозе и в поэзии — характернейшая черта шаламовского творчества. Это большой писатель, один из немногих действительных воспреемников классических традиций русского девятнадцатого века, художник, который, столкнувшись с трагедиями советского времени, остался верен высокому достоинству Слова, подчинив ему неслыханной новизны сопротивляющийся материал.

Но он же и восстал против литературных уроков гуманизма. «Русские писатели-гуманисты второй половины девятнадцатого века несут в душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в двадцатом веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить...» Отсюда и шаламовская нетерпимость к проповеди, к указующему персту, к иллюзиям, что искусство может облагородить или научить человека добру и счастью. Отсюда поиски лаконизма, устранение всего лишнего, всего канонизированного в форме литературного письма, постоянное мысленное обращение к пушкинским заветам, даже на уровне игры, горькой пародии: «Играли в карты у коногона Наумова», — так начинается шаламовский рассказ «На представку», отсылая память читателя к первой фразе «Пиковой дамы».

В рассказе «Боль» Шаламов безжалостно сталкивает романтическую интеллигентскую жажду добра и свободы со страшным миром блатарей. Герой рассказа Шелгунов, прямой потомок революционеров-землеольцев, отказывается верить, что девятнадцатый век обманул его. Он находит надежду в уголовниках, которые смело противопоставляют себя государству. Какая жалкая иллюзия и какой жуткий финал! Литературный сюжет с игрой в «чужие письма», внешне повторяющий классическую ситуацию «Сирано де Бержерака», приводит к немислимой развязке, предусмотреть которую никакое искусство не в состоянии. Только ГУЛАГ мог рождать такие сюжеты.

Девятнадцатый век предал, обманул Шелгунова и согни тысяч других русских интеллигентов, партийных и беспартийных, не отделявших демократию от социализма, совесть от общественного долга, веру в идеалы отцов от социальной практики. Но и сама интеллигенция разве не несет своей доли вины за то, что произошло

с ней и с русским народом? Колыма — это ад на земле, построенный руками не одного какого-нибудь злодея или хорошо организованной шайки государственных преступников, а, по сути, коллективной волей, железной логикой исторического безумия. Только сейчас наше общество начинает это осознавать вполне отчетливо, и в этом трезвом знании есть надежда на возрождение и реализацию бессмертной идеи подлинного народовластия, которое невозможно без постепенного восстановления и развития великой культуры, так безжалостно разрушенной потомками Шигалева и Петра Верховенского.

Вот о чем думаешь, читая колымские рассказы. Бесстрашие мысли — главная победа Варлама Шаламова, его писательский подвиг. Мысли, идущей до края, не останавливающейся перед пропастью, перед бездной и потому дающей свободную силу нам, ныне живущим и мучительно размышляющим над смыслом отечественной истории.

В 1964 году А. И. Солженицын писал В. Т. Шаламову: «И я твердо верю, что мы доживем до дня, когда и «Колымская тетрадь» и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я твердо в это верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».

Предсказание сбылось лишь наполовину. Сам автор «Колымских рассказов» не дожил до этого дня.

Такие личности, такие художники, как Варлам Тихонович Шаламов, рождаются крайне редко и оказывают сильное влияние на духовный, литературный климат общества. Его посмертная, настоящая жизнь в нашей культуре только начинается. И хотя сам он всегда отрицательно относился к любому проявлению моральной дидактики, нравственный урок его писательства велик и неоспорим.

## НЕ УСТАВАЛ ВСПОМИНАТЬ...

Варлам Тихонович Шаламов вошел в наше общественное и литературное сознание незаметно, но прочно, без шумной волны сенсации. Давно печатавшийся как поэт, он завоевал известность «Колымскими рассказами», написанными между 1954 и 1973 годами; значительная часть их вышла за рубежом, а у нас они стали публиковаться лишь в последние годы.

Помню его появление в «Новом мире» в начале 60-х годов, едва ли не той зимой, когда была напечатана повесть об Иване Денисовиче. Высокий, костистый, чуть сутулившийся, в длинном пальто и меховой шапке с болтающимися ушами... Лицо с резкими морщинами у щек и на подбородке, будто выветренное и высушенное морозом, глубоко запавшие глаза... Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы, забегал на минутку, словно для того лишь, чтобы удостовериться — до его рукописи очередь еще не дошла. Журнал был в трудном положении: разрешив, по исключению, напечатать повесть Солженицына, «лагерной теме» поставили заслон. Была сочинена даже удобная теория, мол, Солженицыным рассказано все о лагерном мире, так зачем повторяться?

Между тем художественные и документальные отражения неволи — аресты, тюрьмы, лагеря — предстали неисчерпаемо разнообразными. Они открыли в литературе новый и сильный пласт трагических впечатлений, оказавшихся в известном смысле богаче содержанием более привычных и благополучных тем «воли». Борис Пастернак, которого Шаламов любил и с которым переписывался, заметил как-то, что описания жизни сытой и роскошной страшно

однообразны в сравнении с бесконечным разнообразием бедной и трудовой жизни. Это относится и к «лагерной теме». Кажется, о лагерях в наше время рассказано столько, но не устаешь удивляться, что каждый новый свидетель тех горестных лет, если он к тому же обладает наблюдательностью, зоркостью, художественным талантом, непременно сообщит что-то новое, пропущенное его предшественниками.

Мир русской каторги, имевший первым своим певцом Достоевского, неисчерпаем. Пестрой разнолицею толпой в драных ватниках, бушлатах и обмотках врывается на страницы Шаламова лагерный люд. И хоть кажется, что говорится все об одном — холоде, голоде, унижениях, боли, непосильном труде, а сколько разных, не похожих одна на другую историй рассказывает нам Шаламов, сколько неповторимых поворотов судеб и новых ошеломляющих нечеловеческой болью деталей успеваешь он передать.

Плотность этой прозы такова, что ее можно было бы, по-видимому, связать с опытом Шаламова-поэта. А иной раз по дотошности подробностей она напоминает этнографический очерк. Но, может быть, некоторая сдержанность и суровость, непоказной аскетизм ее от того, что «об этом» было бы просто стыдно рассказывать более «художественно», затейливо и кудряво.

Рассказы Шаламова коротки как правило. Ему словно бы тяжело длить повествование: есть свой порог у чувства боли и своя длительность — нельзя долго вызывать эти картины в памяти, здесь немеет воображение. Но, закончив один рассказ и как бы разрешив читателю сделать глубокий вдох, Шаламов принимается за следующую колымскую историю. А в целом из этих десятков сцен, лиц и картин складывается небывалый колымский эпос, который заслужила эта политая слезами и кровью земля.

Шаламов чувствовал за собой призвание Нестора-летописца колымского народа, составившего не этническую, но социальную общность. Он не уставал припоминать подробности его быта и обихода, долгие дни страданий, тени когда-то топтавших эту землю людей, исчезнувших там — на лесоповалах, в рудниках, тюремных больницах. Им безраздельно отдал он, сам проведенный в неволе почти двадцать лет, свое перо.

Публикуя несколько еще не появившихся в нашей периодике «колымских рассказов» Варлама Шаламова, «Знамя» отдает долг памяти благородного человека и значительного русского писателя.

МИХАИЛ ЗОЛОТОНОСОВ  
(Санкт-Петербург)

## ПОСЛЕДСТВИЯ ШАЛАМОВА

Случай Шаламова парадоксален: писатель выступил против русской литературы, против ее гуманизма и проповедничества. «В новой прозе, — после Хиросимы, после самообслуживания в Освенциме и Серпантинной на Колыме, после войн и революций — все дидактическое отвергается. Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить. Искусство не облагораживает, не улучшает людей. Искусство — способ жить, но не способ познания жизни... Новая проза — само событие, бой, а не его описание...» (Московские новости. 1988, 4 дек., № 49. С. 16).

Отвергаются и Лев Толстой, и Чернышевский, и Достоевский — вся русская классическая литература. «Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приведшее к сталинским лагерям, к печам Освенцима, — старался Шаламов высказаться без недомолвок, — доказали, что искусство и литература — нуль... То, что «Избранное» Чернышевского продают за пять копеек, спасая от освенцима макулатуры, — это символично в высшей степени. Чернышевский кончился, когда столетняя эпоха дискредитировала себя начисто» (Новый мир. 1989, № 12. С. 61).

Но так должен был ненавидеть Чернышевского и его роман «Что делать?» Рахметов, «особенный человек». Шаламов таким и стал: он мечтал достичь достоверности протокола, наделенной статусом высшей художественности. Для этого проза должна была оказаться **вне** искусства, условности, стиля (романтизма, реализма); она парадоксально не должна была стать **языком описания** чего-то,

---

Статья представляет собой развитие тезисов, высказанных на Шаламовских чтениях 1991 года.

внеположного ей. Это **язык**, который описывает сам себя и ничего более. Не случайно Рахметов жадно схватил с полки ньютоновские «Замечания о пророчествах Даниила и Апокалипсисе св. Иоанна». Они интересны ему, как выясняется, отнюдь не мыслями Ньютона, а тем, что в тексте выразилась прихотливая смесь ньютоновского безумия с умом: «Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смещении безумия с умом. Ведь вопрос всемирно-исторический: это смещение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах».

Итак, объявленная ценность сочинения — в том, что оно выражает **сверх** желания автора, независимо от его сознательного намерения. И именно эту предельно объективную материю ценит в своей «сверхпрозе» Шаламов. Отсюда особый процесс писания — **самопровокация**: заставить себя высказать нечто вне литературно оформленного намерения, вне штампа, уже сидящего в сознании: «КР — фиксация исключительного в состоянии исключительности... Обстоятельства жизни тут не вспоминаются, просто существует боль, которую надо снять...»

А чтобы привести себя в состояние исключительности, необходима злость, в которой скрыт «секрет молодости» (см. письмо к Н. Я. Мандельштам от 21 июля 1965 года): «К собственным костям ближе всего **злость**, за злостью следует равнодушие...» (Знамя. 1992, № 2. С. 159). У Шаламова «злость» приобрела эвристическую ценность, гарантируя апелляцию к самым нижним слоям подсознания. Так происходило расторможение, аналогичное тому, какое возникает в концлагере.

Процесс создания «новой прозы» — это психологический эксперимент над собой, попытка «выговаривания» того, что хранится в подсознании. «Мне кажется, — замечал Шаламов в письме к Надежде Мандельштам (29 июля 1965 г.), — в поэзии все дело в «отдаче», в том, чтобы суметь подставить себя, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа. Если этот рубеж не взят, поэта не будет, будет только версификатор» («Знамя». 1992, № 2. С. 162).

Одновременно творчество — это и семиотический эксперимент, цель которого — ликвидация означаемого («содержания»). Так сам Шаламов формулировать, конечно, не умел, но замечал, однако, что «содержание — дело вторичное, дело удачи, улова...» (Новый мир. 1989, № 12. С. 61).

Шаламову практически удалось достичь такого состояния прозы, когда она **ничего не значит** помимо того, на что указывает, что сообщает. Нет метафор, аллегорий, глубинного смысла, вообще двусмысленностей. Все, что дано, дано непосредственно, о чем свидетельствует и то место, которое в лагерной жизни Шаламов отвел потребности в стихах. В рассказе «Афинские ночи» он напомнил: «Томас Мор в «Утопии» так определил четыре основные чувства человека, удовлетворение которых доставляет высшее блаженство по Морю. На первое место Мор поставил голод — удовлетворение съеденной пищей; второе по силе чувство — половое; третье — мочеиспускание; четвертое — дефекация» (Новый мир. 1989, № 12. С. 43). А на пятое место, не предусмотренное Томасом Мором, сам Шаламов поставил потребность в стихах. «У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием». (там же, с. 45).

Контекст стихи не снижает и не возвышает, он только делает их физиологической функцией, лишая знаковости, смысла, указания на какой-то особый мир.

Если бы внутри литературы происходил идейно-художественный обменный процесс, то **ПОСЛЕДСТВИЯ ШАЛАМОВА** для нашей литературы должны были оказаться разрушительными. К счастью для наших писателей, они ничего глубоко не воспринимают, у нас нет влияний, восприятие поверхностно, и именно это предохраняет **свое** от влияния или разрушительного воздействия **чужого**. В лучшем случае проза Шаламова, которая при глубоком восприятии должна была бы изменить **всю систему литературы**, принята к сведению. Не более того.

У братьев Стругацких в «Пикнике на обочине» была описана некая трудновообразимая субстанция — «ведьмин студень». Вещество, которое пожирало все. Проза Шаламова — это именно «ведьмин студень». Прежде всего потому, что упраздняет прежнюю литературную конвенцию, отменяет описания, от которых веет жизнеподобием, но которые основаны на литературной условности. Есть некий персонаж, есть предлагаемые обстоятельства, типические, похожие на многие ситуации, и есть технология писательской работы, которая состоит в том, что писатель помещает своего героя в эти предлагаемые типические обстоятельства, во «время и место», и смотрит, фантазирует, что из всего этого получается в итоге. Он

может даже удивляться тому, что получается, но все равно это будет *игрой ума*.

По такой технологии «сделана» практически вся современная проза. Шаламов отменяет всех разом: он дал такую правду, такую достоверность, такие «финальные состояния» и экстремы, на фоне которых все прочее — выдумка, порошок, гниль, искусственные конструкции, нечто недостоверное, суетливо-постыдное, годное лишь для скручивания сигарок.

Для внимательного и вдумчивого читателя шаламовской прозы доверие к беллетристическим упражнениям и стандартам подорвано навсегда. Отсюда и ключевая фраза писателя, являющаяся итогом осмысления собственной прозы, — «**роман умер**». Он мог бы добавить по-раскольниковски: я убил.

В письме А. Солженицыну, написанном в ноябре 1962 года, письме, целиком отданном анализу «Одного дня...», есть примечательное наблюдение: «Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на сигарку и закурил».

Дело не в отвычке от книг — дело в эренбурговской лжи. Но под руками у Шаламова умер не только роман, но и человек. Гуманизм, заключавшийся в вере во спасение, отменен, да и что могло от него остаться после двадцати трех лет лагерей и ссылок? Тачечник учит не верить человеку вообще, раскрывая это существо до рефлексов, до биологии. Человек разоблачен, развенчан как вид. И отправлен прямо в ад, ибо имманентно греховен. Рай безнадежно потерян, остался в сказке у Чернышевского.

Компрометация человека достигает у Шаламова апогея, и не случайно, конечно, роман и человек гибнут синхронно. Роман знаменовал разложение эпической формы, стадию приближения к индивидуализму. Проза Шаламова показывает утрату индивидуума — вследствие чего сворачивается в трубочку и роман. Человек становится марионеткой «биологии» и социальных сил, играющих им. То есть упрощается жизнь — упрощается и литературная форма. Нет финалов с моральями — нельзя учить; нет героев и героики. Все бессмысленно и ничем не кончается: «Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время». Жизнь просто длится. В каком-то рассказе есть ироническое замечание: *Негоіса* в переводе с латинского — *сильно действующее...*

Художественный мир Шаламова предстает миром как таковым, без художественной линзы. Это не «писательство» в обычном понимании, не беллетристика, а документальное описание неизвестного,

рядом лежащего мира и неизвестного человека, которые традиционными способами описаны быть не могут. То есть это нечто вроде естественного языка, системы терминов и отношений между ними. Отсюда, очевидно, и отсутствие таких «надстроечных» понятий, как «гуманизм», «мораль», «проповедь». Какая в алфавите может быть мораль?

Из рассказа «Погоня за паровозным дымом»: «На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить бдительность».

Заметим: осуждения нет, Шаламов констатирует. Практически каждый рассказ содержит подобное элементарное описание, и ради них все и написано. Остальное — дань литературной традиции, не до конца отринутой даже Шаламовым.

Отчасти лагерная проза Шаламова напоминает «Сообщение Бродуи» Борхеса: незамысловатый рассказ путешественника, побывавшего в незнакомой стране дикарей, где все необычно. Рассказы Шаламова — это именно сообщения, передаваемые спокойным ровным голосом без модуляций, которому автор обучился в лагере и навсегда запомнил.

«В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость — потому что слишком опасно. Горе — потому что бесполезно. Канонический классический «ближний» не облегчит твою душу, а сорок раз продаст тебя начальству: за окурок или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что — по-русски» («В лагере нет виноватых»).

Этот лагерный принцип и воплотился в поэтике прозы, в которой об эмоциях сообщается так же, как о мочеиспускании. «Я» как бы отсутствует, и это отсутствие вызывает суровую озабоченность, проявившуюся, например, в заметке «Эккерман» (вошедшей в антироман «Вишера»): «Тут просто мысли Гете, да еще его явные, а не тайные мысли. Сам процесс мышления искажается, если есть свидетель... Я приспособливаюсь к секретарю, произвожу отсев чувств и мыслей.

Письма проще, точнее, но и там есть отсев, и немалый. Сам Гете неизбежно искусственен, неизбежно фальшив в записи такой беседы.

Вторая искажающая — сам Эккерман. При всей его добросовестности Эккерман не магнитофон все же».

В результате отказа от «свидетелей» изобразительные средства Шаламова оказались в точном соответствии с законами и навыками лагерного поведения: они ни к кому не приспособливаются, но горе и радость табуированы и изгнаны, а наслаждения нет.

**Отсутствие наслаждения** — один из фундаментальных принципов шаламовской прозы. Даже описание изнасилования (см. «Вишера», глава «М. А. Блюменфельд») не сбивает с тона бесстрастного сообщения, не возбуждает, не ускоряет дыхания. В современном романе вряд ли дело обошлось без того, чтобы рассказать о том, как начальник конвоя на глазах у всех медленно раздел Зою Петровну, как она, вдруг потеряв равновесие, опрокинулась назад, и рука Щербакова с нечистыми ногтями грубо пронзила ее сразу в двух местах, и Зоя закричала и заплакала, а Щербаков засмеялся и сделал еще больнее, развел ей ноги в стороны, прихватил волосы и раздвинул губки... А когда он отпустил ее, голую, всю стонущую, всю в слезах, она упала на пол, и по тому, как сел на койке Щербаков, поняла, что рот тоже не будет пощажен...

В прозе Шаламова такое описание, естественно, невозможно, Шаламов соблюдал литературные условия, а эмоции в прозе не допускал. Но еще важнее иное: у Шаламова в процессе работы отключена **фантазия**, без участия которой сексуальные описания невозможны. То, что произошло с Шаламовым, напоминает Великую Операцию, описанную Е. Замятиным в «Мы» — операцию по удалению «фантазийного аппарата». Не случайно после этой операции рассказчик из «Мы» переходит на сообщение шаламовского стиля, спокойно фиксирующего боль и страдание.

**Замятин:** «Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напоминало мне что-то (рассказчик имеет в виду половой акт. — М. З.). Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза ее совсем не закрылись. Тогда ее вытащили...»

**Шаламов:** «Мне никогда не забыть тело Зои Петровны, ростовского зубного врача..., которую в нашем этапе в апреле 1929 года напоил спиртом, раздел и изнасиловал начальник конвоя Щербаков. Все это делалось открыто, на глазах всего этапа... Щербаков получил любовь не один, рядовым конвоирам тоже досталось».

Видно, как цветаст Замятин по сравнению с Шаламовым: у второго удалена не только фантазия, не только память о наслаждении, но и категория красоты.

Публичный секс свидетельствует о существенной черте мира, который описал Шаламов: это мир, в котором нет «фрейдовского человека», потому что нет вытеснения, **подавления** инстинктов. Отсю-

да отказ от символических форм поведения, жестокость, игра рефлексов, отсутствие невозможного, **иная логика**.

В эссе «В лагере нет виноватых» Шаламов заметил: лагерь и внелагерный мир — не антиподы, не ад и рай; лагерь — это слепок мира, в лагере выходят наружу «тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Какой-нибудь Жуков, Гаранин, Павлов приносят в лагерь вывернутое дно своей души». Иначе говоря, лагерь это место, где вытесненные образы и стремления обмирщаются, вываливаются в мир, и в этом смысле лагерь — это фантастический мир, в котором реальны только смерть, кровь и страдания. Чтобы передать эту немислимую смесь, сообщить о людях с вывернутым наизнанку, экстериоризованным подсознанием, Шаламов и пытался создавать новую эстетику, исключаящую всякие элементы вымысла, фантазии.

«Художественный крах «Доктора Живаго» — это крах жанра. Жанр просто умер. Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом... Все, что переходит документ, уже не имеет права поставить себя выше любой туманной сказки».

Страх «туманной сказки» и фантастики легко объясним: художественная фантастика как средство может заслонить фантастику как имманентное свойство лагерной реальности. Отсюда и вывод, касающийся «Доктора Живаго» и смерти толстовского романа: этими средствами невозможно сообщить о шаламовском мире. Заодно, чтобы звучало надежнее, Шаламов компрометирует и «гуманистические идеи»: форма и содержание равно устарели, нужно что-то совсем новое, чтобы рассказывать о старом лагернике, который сидел над «очком», с интересом чувствуя, как что-то мягкое ползает по изъязвленному кишечнику, без боли, а ласково, тепло, и калу будто жаль расставаться с кишками. Кал падает в яму с брызгами, всплеском — в ассенизационной яме кал долго плавает по поверхности, не находя себе места: это — начало, чудо» («Афинские ночи»).

Скатологический шедевр написал «русский Сад», лишенный фантазии и чувства наслаждения от текста. Последнее хочется домыслить, внести в текст, но Шаламов заботливо принял меры, чтобы этому помешать.

ВАЛЕРИЙ ЕСИПОВ  
(Вологда)

## ТРАДИЦИИ РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Термин «Сопrotивление» по отношению к России звучит непривычно. Мы знаем французское, итальянское, югославское Сопrotивление, связанное с противостоянием фашизму в годы второй мировой войны. Шаламов одним из первых вводит это слово в российский исторический контекст, и оно обретает неожиданно глубокое и емкое звучание. В «Четвертой Вологде» он пишет о многих деталях Сопrotивления, на протяжении столетий соприкасавшихся с вологодской пересылкой — «от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского». Судя по именам, для Шаламова понятие «Сопrotивление» — шире, чем освободительное (или революционное) движение, оно включает в себя не только разные формы политического протеста, но и протеста духовного (Аввакум) и даже глубоко интимного, возникающего в сфере любви и семьи (Наталья Долгорукая). Отчетливо видно, что объект этого протеста — не просто «самодержавие», а та многогранная «парадигма российской несвободы», которая имеет тысячелетнюю историю и преодолевать которую мы начинаем лишь сейчас, на пороге XXI столетия...

Мрачный афоризм Шаламова: «Русская интеллигенция без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция» отразил — на новом историческом витке — старую закономерность, отмеченную еще Герценом: «В самые худшие времена европейской истории Спинозу не посылали на поселение, Лессинга не секли или не

---

В основу статьи положены тезисы выступления на Шаламовских чтениях 1991 г.

отдавали в солдаты». Шаламов самым осязаемым образом прочувствовал это еще в детстве: город, где он рос, был переполнен политическими ссыльными. Хотя вологодская ссылка — сравнительно легкая («подстоличная Сибирь», по Шаламову — «Барбизон»), люди попадали сюда не по своей воле, а по воле полицейско-государственной машины, и этого достаточно, чтобы заставить задуматься, почему так происходит.

Разумеется, юный Шаламов был слишком мал, чтобы приобщиться к миру ссыльных, но он хорошо запомнил то, что они привнесли в тогдашнюю вологодскую жизнь — «особый климат, нравственный и культурный», повышенные требования «к личному поведению». Безусловная симпатия к ним подпитывалась обстановкой в семье. Отец, несмотря на свой священнический сан, поддерживал знакомство с некоторыми из ссыльных, принимал их у себя дома. В целом во взглядах отца Шаламова легко обнаруживаются типологические черты либеральной российской интеллигенции: сочувствие к «меньшему брату», крестьянству, — вплоть до одобрения правозэсеровской программы Питирима Сорокина, установка на просветительство, отвращение к черносотенству. Отец с энтузиазмом принял февральскую революцию и в дальнейшем не высказывал сожаления по царскому режиму, что также соответствовало массовым настроениям интеллигенции.

Шаламов унаследовал лишь часть этих черт — его созревание пришлось на куда более бурную и сложную эпоху 20-х годов — эпоху, как он сам писал, «зарождения всех благодетелей и всех преступлений будущего». Тем не менее он успел впитать в себя многое из «старой эпохи», которая по инерции продолжала воздействовать на умы и сердца поколения, родившегося за десять лет до революции. Эта тонкая грань чрезвычайно важна для понимания судьбы Шаламова и особенностей его мировосприятия. Недаром свое приобщение к миру русской революции — миру Сопротивления — он связывает с отнюдь не хрестоматийной (для коммунистического ликбеза) книгой — «То, чего не было» В. Ропшина (Б. Савинкова). Как и «Конь бледный», эта книга принадлежит скорее к нежелательной для новой эпохи литературе, а имя Савинкова после Октября 1917-го напрямую ассоциируется с контрреволюцией...

Чем же привлек провинциального подростка, сменившего гимназию на «единую трудовую школу», роман Ропшина, который сам он не считал литературным шедевром? Ответ на это дан в «Четвертой Вологде»: «Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и

его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, который создают такие книги».

Нет никакого сомнения, что мы видим здесь нечто большее, чем романтическое увлечение «подпольем». Речь идет о традиции, имеющей глубокие корни в русском самосознании. Можно смело утверждать, что в раннем Шаламове — и необычайно ярко! — проявились черты того типа «русского мальчика», который описал Достоевский (в характеристике Алеши Карамазова): «Это был юноша... честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всюю силою души своей, требующий скорого подвига, с непрерывным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». Исторически этот тип принадлежал XIX веку, эпохе народничества, однако, начало XX века возродило его — в лучших представителях партии социалистов-революционеров. Они и становятся любимыми героями Шаламова, его идеалом до конца жизни.

Подчеркнем: это — нравственный, этический идеал. К идеологии эсеров — народнической, берущей начало от Герцена и Чернышевского — Шаламов никогда не апеллирует. Его привлекает практическая этика революционеров: принцип «соответствия слова и дела» как императив. Этот принцип в глазах Шаламова — первооснова нравственной жизни. («Что говоришь — делай» — так меня учили жить. Так я учил жить других»). Непреклонность, с которой он исповедует это правило, почти религиозна, и это снова заставляет задуматься о мощной национальной традиции. Несомненно, что первые уроки жизни сказались в будущей писательской судьбе Шаламова — в его стойкой убежденности, что право на слово должно быть выстрадано «собственной судьбой, собственной кровью»...

Трудно сказать, прочел ли тогда Шаламов знаменитый сборник «Вехи» (1909 г.). Но можно с уверенностью говорить, что пафос «Вех» — с призывом интеллигенции к покаянию, к религиозному смирению — ему был чужд. Все его юношеское сознание — против смирения и за правоту тех, кто умирал на виселицах и в тюрьмах. И это тоже составляло дух времени, вне зависимости от позднейших коррекций. Напомним, что многие «веховцы» приветствовали февральскую революцию и, таким образом, волей-неволей отдавали

дань признательности своим идейным оппонентам — участникам освободительной борьбы<sup>1</sup>.

В любом случае ориентация Шаламова на сохранение связей с революционными традициями в России — а не на «веховский» разрыв с ними (пронесенная с молодости до конца дней) — чрезвычайно знаменательна. Это один из краеугольных камней его мировоззрения. На его примере мы видим, сколь естествен и органичен для мыслящей молодежи тех лет путь приобщения к этим традициям. И нет никакого парадокса в том, что именно через увлечение эсерами и народовольцами Шаламов — подобно многим своим сверстникам — пришел к осознанию исторической неизбежности перемен, принесенных Октябрем, — перемен жестоких, удручающих для него самого и его семьи, но все-таки много обещавших в будущем. Но здесь же был и исток его обостренных отношений с новой властью — отношений, приведших к первому аресту в 1929 году.

В воспоминаниях Шаламова о 20-х годах есть одна примечательная фраза: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни». Печальная ирония этой мысли, наверное, лучше всего передает противоречия, одолевавшие его — да и его ли одного! — тогда. С одной стороны, став студентом Московского университета, он не мог не видеть действительных благодеяний, которые принес нэп. («Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год», (т. е. Февраль — В. Е.), — это свидетельство Шаламова-очевидца о 1924 годе<sup>2</sup> имеет особую цену). С другой — он ощущал, что «штурм неба» — коммунистический утопизм, становившийся все более воинственным и догматическим — таит в себе зачаток новых катаклизмов и преступлений. Шаламов отмечает, что таких, как он, «опоздавших к штурму неба», в тогдашней Москве было немало. И вполне закономерно, что именно из них, его сверстников-студентов, не затронутых ожесточением гражданской войны, воспринявших революцию в духе старых «заветов» русской интеллигенции — как условие гуманистического обновления жизни — составилось вскоре новое Спротивление в русской революции...

«Активно участвовал в событиях 1927, 1928, 1929 годов на стороне оппозиции». За этой строкой «Краткого жизнеописания»

---

<sup>1</sup>Ср. отзыв П. Струве о Феврале: «Историческое чудо, которое прожгло, очистило и просветлило нас самих». (Цит. по: Знаменский О. Интеллигенция накануне Великого Октября. — М.: Наука. 1988, с. 101).

<sup>2</sup>«Знамя», № 4, 1993, с. 115.

Шаламова — целый пласт его биографии, к сожалению, пока не исследованный. Мы знаем только, что в феврале 1929 г., в возрасте 21 года, он был арестован ОГПУ за распространение «Завещания» Ленина («Письмо к съезду») и арест произошел в подпольной типографии МГУ. Даже этих кратких деталей достаточно, чтобы понять, что это было по существу воплощение старой революционной практики в новых (советских) условиях. Причем, как представляется, дело не исчерпывалось изготовлением листовок со скрытым от народа и запрещенным текстом Ленина. Весьма многозначительна шаламовская характеристика своих друзей-оппозиционеров: «Те, кто пытался самыми первыми, самоотверженно **отдав жизнь** (выделено нами — В. Е.), сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина». И еще: «Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу...»

Есть основание полагать, что при столь откровенной ненависти к Сталину, восприятию его как нового деспота-самодержца среди молодых оппозиционеров заходила речь и о радикальном способе «решения вопроса» в духе «Народной воли». Недаром Шаламов пишет о готовности «отдать жизнь». И недаром, оказавшись после ареста в Бутырской тюрьме, он открыто восхищается тем методом, о котором рассказывает старый политкаторжанин эсер Андреев: «Раз — квас!» (рассказ «Лучшая похвала»)¹.

Как бы то ни было, молодой Шаламов оказался на самом острие общественной борьбы 20-х годов, и это глубоко символично. Иной путь, при его взглядах, труднопредставим. Это был смелый и благородный порыв. Поздняя самооценка — «конечно, я был слепым щенком тогда» — тут мало что меняет. Объективно рассматривая ситуацию тех лет, нельзя не признать, что шансы противников Сталина были весьма невелики. Но тем не менее они существовали — даже в рамках внутривнутрипартийной оппозиции. Формально никак не связанный с большевистской партией (даже не комсомолец), дале-

---

¹ Такие настроения были распространены в разных слоях оппозиции. О своей готовности стать «советским Брутом» заявлял, например, в том же 1929 г. слушатель Коммунистической академии(!) И. Сорокин (см. Авторханов А., Технология власти — «Вопросы истории» №№ 9-10, 1991, с. 93). Сталинская боязнь покушения имела серьезную почву. Напомним, что свой запрет на разработку темы народничества в 30-е годы «вождь народов» мотивировал следующим образом: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов»... («История и историки». — М.: Наука, 1965, с. 257).

кий от политической «кухни», Шаламов был волонтером, «вольным стрелком» в этой борьбе. Но на деле он выступал союзником всех здоровых сил в ВКП(б), преодолевших болезнь левизны и учившихся — на ходу! — отделять реальное от утопии в коммунистической доктрине<sup>1</sup>.

Пример Шаламова лишний раз подтверждает силу антисталинского вектора общественного сознания 20-х годов. Выражая чаяния нового поколения русской интеллигенции, он в то же время олицетворял — по большому счету — чаяния всего народа, по крайней мере, его основной массы: «Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же» («Вишерский антироман»)..

Сторонники теории «непрерывности», т. е. отождествления большевизма и сталинизма, найдут в лице Шаламова весьма крепкий орешек. Его симпатии к 20-м годам, при понимании их противоречивости, — устойчивы и неизменны.<sup>2</sup>

Его уклонение от однозначных оценок Ленина свидетельствует о известном целомудрии, которое свойственно опять же людям 20-х годов. Тот факт, что Шаламов участвовал в распространении «Завещания», конечно, не следует относить к безраздельной апологии Ленина. Однако, социальная тенденция позднего Ленина, реализованная в нэпе, в «свободе», хотя и относительной, — была ему близка и в молодости, и на склоне лет. Необходимо помнить, что это взгляд человека, собственной кожей испытавшего жестокий контраст двух миров — середины 20-х годов и 1937 года. Еще более важно помнить, что Шаламов выступал от имени миллионов расстрелянных и замученных при Сталине — миллионов, составлявших цвет обновленной России и гарант ее возможного здорового саморазвития...

Живая причастность к борьбе против Сталина сыграла огромную роль в его жизни. Она дала ему право на самоуважение — на

---

<sup>1</sup> По казуистической логике следствия ОГПУ Шаламов был отнесен к «троцкистам». Сам он подчеркивал, что «к Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии» («Краткое жизнеописание»). Объективно Шаламов стоял ближе к «правой» (бухаринской) оппозиции.

<sup>2</sup> Судя по воспоминаниям Р. Орловой и Л. Копелева, Шаламов после лагеря в личных встречах тепло отзывался о 20-х годах — «преображался, становился добрым, доверчивым, веселым, рассказывая о вечерах Маяковского и других поэтов». Однако, вывод авторов о «расколоте» сознании писателя («светлый мир 20-х годов и беспросветный ужас колымской каторги в его творчестве не были ничем связаны»), — слишком произволен. См.: Орлова Р., Копелев Л., Мы жили в Москве. 1956—1980. —М.: Книга, 1990, с. 58, 64.

то, чтобы считать себя продолжателем традиций революционеров прошлого. (Он сделал все, что мог в обстоятельствах своего времени!). Она закалила его нравственно и скрепила основы мировоззрения. Она, наконец, дала ему впоследствии неоспоримое моральное право — как писателю — сурово судить систему, порожденную Сталиным и оставившую невытравимые метастазы в обществе, с которым Шаламов столкнулся по возвращении с Колымы.

\* \* \*

Шаламов всегда делил свою жизнь на две «классические», по его словам, части — занятие литературой, искусством и участие в «общественных сражениях». Казалось бы, в послелагерный период вторая часть целиком вытесняется первой: «Мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы» (автобиография «Несколько моих жизней»). Но литературная работа для него не могла не быть сражением. Это было высокое духовное Соппротивление — сопротивление времени, лжи и насилию, равнодушию и беспамятству, литературной рутине.

Шаламов называл свои «Колымские рассказы» «пощечинами сталинизму». Но это указывает лишь на ближние, жгуче эмоциональные цели его работы. Сверхзадача рассказов — не только и не столько обличение. Глубже всего писателя волнуют проблемы онтологического зла, разлитого в человеческом обществе и в самых обнаженных формах проявившегося в лагерном бытии («лагерь мироподобен»; «лагерная тема в широком ее толковании — основной, главный вопрос наших дней»). Он ищет ответы на самый мучительный вопрос XX века — «как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе, прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме...»

Восстанавливая сегодня картину общественного сознания в послесталинский период (от «оттепели» к «застою»), трудно не восхищаться мужеством Шаламова, его стоицизмом художника. Нравственная позиция писателя безупречна — заявив еще в 1956 г. (в письме Б. Л. Пастернаку): «Вопрос» печататься — не печататься для меня вопрос важный, но не первостепенный — он не идет ни на какие компромиссы с совестью, отвергая приспособление к цензуре и предпочитая писать «в стол». Во всем этом отчетливо видна верность юношеским клятвам и правилам, выработанным в лагере (одно из них — «я не должен искать ничьей помощи», другое — «я не должен ничего и никого бояться»). Новые испытания он

встречает со спокойным достоинством художника, знающего себе цену и убежденного в том, что «искусство — бессмертие жизни».

Взгляды Шаламова на протяжении 50—70-х годов не остаются неизменными — они углубляются, обогащаются новым опытом, но при этом сохраняют многие черты ментальности 20-х годов, ментальности русского интеллигента. Чрезвычайно показательно в этом плане его признание в письме к Н. Я. Мандельштам: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити» (1965 г.) Эта установка близка духу «шестидесятничества» — устремлениям так называемой либеральной советской интеллигенции, но Шаламова отличает от нее глубинное, основанное на лагерном опыте, осознание фундаментальных природно-человеческих причин катастрофического исхода революции. Эти причины он видит прежде всего в могуществе «темных сил», «зверских инстинктов», «зверских народных страстей», которые, «утверждают свою вечность, прячась, маскируясь до нового взрыва» («Четвертая Вологда»). Для Шаламова несомненно, что эти черты народа возвращены многовековым унижением, всем укладом старой российской жизни (ср. стихотворение из «Колымских тетрадей»: «Она еще жива, Расея, опаснейшая из Горгон»). Шаламов хорошо понимает, что большевики первого призыва во главе с Лениным немало повинны в развязывании этих темных, «стяжательских», по его словам, инстинктов. Но, по его устойчивой «нэповской» логике, именно сталинская иезуитская манипуляция этими инстинктами, вновь взятая на вооружение после тяжелых, осознанных уроков гражданской войны и прикрытая демагогическими лозунгами, — привела к уничтожению лучших сил страны и утрате «связи времен»...

Писатель последовательно и настойчиво защищает русскую интеллигенцию, в том числе революционную, от тех нападков, которым она подвергалась и подвергается. «Ненависть к интеллигенции, к превосходству интеллигенции» он считает «самым большим грехом» эпохи (то же письмо Н. Я. Мандельштам). Отчетливо обнаруживаемое здесь расхождение Шаламова с новой волной «веховских» настроений в России (ярким представителем которых становится А. И. Солженицын) делает для него неприемлемым и доктринальный антикоммунизм, который не считается ни с историческими реалиями, ни с живой духовной традицией, которую воплощает тонкий слой тех, кто сопротивлялся и сопротивляется тоталитарному режиму. Шаламов избегает примитивных политических терминов для обозначения строя общества, достойного России

(«социализм», «капитализм»), но для него несомненно, что это должно быть свободное общество, нейтрализующее «зверские инстинкты». Об этом — ключевое в творчестве Шаламова стихотворение «Аввакум в Пустозерске» (1955 г.): «Наш спор — о свободе, о праве дышать...» В этом — пафос программного рассказа «Воскрешение лиственницы» (1966 г.): «Триста лет лиственнице... она живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие...»

Писатель не питал иллюзий относительно скорого демонтажа системы, которая несла в себе закамуфлированные черты сталинизма. В таком политическом контексте тема сопротивления в «Колымских рассказах» приобретает особый смысл. Рассказ «Последний бой майора Пугачева» (1959 г.) — о людях, которые предпочли смерть жизни в лагере, — можно, без преувеличения, считать самым революционным художественным произведением тоталитарной эпохи! Тот же смысл, как представляется, имеет обращение Шаламова к образам старых революционеров. Это не просто ностальгия по чистым и благородным «заветам», утраченным вместе с уходом (уничтожением) последних представителей партии эсеров (рассказ «Лучшая похвала»), или желание напомнить о ярких, неординарных судьбах, вычеркнутых из официальной истории (Наталья Климова, участница покушения на Столыпина, в рассказе «Золотая медаль»). Нетрудно увидеть за всем этим еще и стремление Шаламова дать новому поколению живые примеры жертвенной борьбы — в расчете на подражание, если не буквальное, то возможное сообразно обстоятельствам времени. Этот «пропагандистский» пафос у Шаламова неназойлив и не столь прямолинеен, как у Солженицына («Жить не по лжи!»), но имеет ту же мотивацию: с сущим нельзя мириться<sup>1</sup>.

При всех обстоятельствах Шаламов оставался прежде всего художником, для которого искусство — самодостаточное средство Сопротивления. Страстный протестант по натуре, он сознательно ограничивал себя, понимая, сколь разрушителен для писателя срыв в сферу публицистики. «Грех учительства» русской литературы, за который, по его твердому убеждению, слишком высокую цену заплатила Россия в XX веке, он считал для себя непозволительным.

---

<sup>1</sup> Эта тенденция использования историко-революционной темы в качестве противовеса официальной идеологии прослеживается в те годы и у других писателей, например, у Ю. Трифонова.

С учетом этого и других факторов (прежде всего — подорванное Колымой здоровье) становится понятной отстраненность Шаламова от участия в «диссидентском» движении. Известен лишь один случай, когда он написал статью для распространения в Самиздате — «Письмо старому другу» (1966 г.), посвященное процессу А. Синявского и Ю. Даниэля. Письмо было анонимным, но те, кто знал интонации и стиль «Колымских рассказов», без труда могли угадать автора. Весьма характерно, что Шаламов вновь обращается к примеру правых эсеров, которые мужественно вели себя на процессе 1922 года. Отмечая «героизм» поведения Синявского и Даниэля на суде, он твердо заявляет: «Нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию»<sup>1</sup>.

В дальнейшем, судя по воспоминаниям И. Сиротинской, Шаламов охладевает к «диссидентскому» движению, переживавшему после серии арестов полосу раздоров и деморализации. Более того, он высказывает открытое презрение ко многим его участникам. На это повлияла, вероятно, история с П. Якиром, квартира которого активно использовалась КГБ и который после ареста дал откровенные показания на своих товарищей<sup>2</sup>.

Как бы то ни было, Шаламов, считая себя наследником русских революционеров и зная толк в конспиративной работе, имел полное право судить об этом предмете по высшему профессиональному и нравственному счету...

Как же, в свете всего изложенного, расценить известное письмо Шаламова в «Литературную газету» (1972 г.)?

Многими из знавших автора «Колымских рассказов» это письмо было воспринято как знак гражданской слабости писателя перед лицом власти. Существуют также версии о том, что он действовал не совсем искренне, стремясь лишь формально показать свою лояльность под давлением обстоятельств. Ни то, ни другое, как представляется, не соответствует истине.

---

<sup>1</sup> В СССР впервые полностью опубликовано в кн. «Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля», — М.: Книга, 1989. Любопытно, что на «процессе четырех» (А. Гинзбург, Ю. Галансков, А. Добровольский, В. Лашкова — январь 1968 г.) этот анонимный текст был признан антисоветским. Между тем весь политический пафос письма сводился к требованию свободы слова.

<sup>2</sup> См.: Амальрик А., Записки диссидента. — М.: Слово, 1991.

Напомним, что лейтмотив письма — протест против политических спекуляций, вызванных публикацией «Колымских рассказов» на Западе. Шаламов был глубоко оскорблен тем, что его рассказы появились в изданиях одиозной антикоммунистической репутации — в «Посеве» и нью-йоркском «Новом журнале». Особый гнев его вызывал, как он выражался, «подлый способ публикации» — по одному-два рассказа в номере с целью создать впечатление о постоянном сотрудничестве<sup>1</sup>.

Надо ли говорить о том, что роль разменной карты в политических играх была ему унижительна? И вряд ли можно сомневаться, что фраза: «Эта омерзительная змеиная практика... требует бича, клейма» — не выражала его подлинных чувств.

Что же касается фраз «я — честный советский писатель», «советский гражданин» и т. д., то они имели в большей степени ритуальное значение: таков был неукоснительный канон — канон жизни и канон «жанра». Но Шаламов был безусловно искренен, отвергая навязываемую ему роль «подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта». Эта роль ни в коей мере не отражала его взглядов и позиции художника. Он мог бы доказать это детальным разбором своих произведений: они абсолютно лишены прямолинейной политической тенденции, которой соответствует ярлык антисоветизма. Писатель последовательно уклонялся от ангажирования какой-либо из сторон — и факт письма это ярко подчеркивает!

Наконец, и самая неожиданная для читателей Шаламова фраза письма — о том, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью» — имеет свое объяснение. Это вовсе не отказ, не отречение от сделанного и не умаление его смысла — это трезвая констатация того, что актуальность лагерной темы в **определенной** мере снижена. Шаламов как бы сходит на уровень обычного восприятия этой темы — он признает, что после XX съезда страна уже не та и возврата к прошлому не будет. В жестких рамках официального ритуала это была, возможно, единственно адекватная формулировка. Но ее поняли слишком буквально...

Письмо отразило трагизм писательской судьбы Шаламова — бесправного и в своей стране, и в мире. Это был акт защиты своего достоинства, а не измена себе. Те, кто думали иначе, исходили из

---

<sup>1</sup> Имеется в виду «Новый журнал», печатавший Шаламова с 1966 г. «Посев» опубликовал лишь два рассказа в 1967 г. Из этого можно сделать вывод, что Шаламов был дезинформирован о частоте своих публикаций в «Посеве».

ложного идеологизированного посыла относительно художнической миссии Шаламова. Факт неприятия этого письма в среде интеллигенции следует отнести к известному явлению «либерального террора». Имеющий давние корни в русском обществе максимализм в оценке поступков «властителей дум» слишком часто жесток и неразборчив. Сегодня, когда общество вновь одолевают рецидивы этой болезни, урок с Шаламовым представляется особенно поучительным.

Особенности нынешнего переходного времени — времени всеохватывающей переоценки ценностей и крайностей. с этим связанных, — делают наследие Шаламова необычайно злободневным. Мы видим, как жестоко подтверждается правота его предупреждений о живучести «темных сил» и «зверских инстинктов» на пространствах России (бывшего СССР). Нельзя не признать, что главная причина этого — многолетнее «растление душ», которое Шаламов ставил в вину тоталитарному режиму. В то же время ход социальных реформ ставит под большое сомнение продуктивность примитивной «антисоветской» идеологии, напроць перечеркивающей нравственные ценности поколений, выросших в новую эпоху. Эта идеология — нигилизм с обратным знаком — вульгаризирует историю страны, лишает ее высокого трагедийного смысла и в конечном счете ведет к полному разрыву с традициями русской интеллигенции — традициями, которые воплощал Шаламов. Новейшие апологеты старой консервативной идеи о том, что «русский революционер — человек без чести»<sup>1</sup>, желали бы исключить из истории и декабристов, и народников, и эсеров, и меньшевиков (не говоря уже о большевиках), но это — живые реальности, представляющие Россию в ее мучительном продвижении к цивилизации. Шаламов в этом плане — фигура, может быть, ключевая в XX веке, и его трагический опыт Сопротивления убеждает в том, что «связь времен» не прервана — она скреплена собственной судьбой писателя.

---

<sup>1</sup> Выражение М. Н. Каткова, относящееся к М. А. Бакунину. Использовано в «Бесах» Достоевского.

## ЖАЖДА СОВЕРШЕННОЙ ПРАВДЫ

Стоит пристальнее взглянуться в отношение Шаламова к такой классической для нашего общественного сознания теме, как «народ и интеллигенция».

Писатель касается ее и в воспоминаниях, и в письмах, и в рассказах. Чувствуется, что она волновала его на протяжении всей жизни, причем позиция его здесь резко определена, можно даже сказать, заострена против какого бы то ни было народопоклонства. В чем он непоколебимо убежден, так это в невинности интеллигенции перед народом.

В «Четвертой Вологде»: он пишет с нескрываемым раздражением, как бы отменяя заранее все возможные возражения: «И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.

Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией».

Старая большая проблема: кто перед кем виноват и кто перед кем в долгу?

Чтобы хотя бы частично представить историю вопроса, вспомним, что в 1909 году вышел в свет знаменитый сборник «Вехи», авторами которого были крупнейшие философы и публицисты начала века — Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, С. Франк, П. Струве и другие. Главный счет они предъявляют именно интеллигенции с ее социальным недовольством, с ее пафосом справедливости, предполагавшим вторжение в естественный порядок и ход вещей, с ее максимализмом и революционаризмом, чреватými

нетерпимостью, фанатизмом и ведущими в конечном счете, по прозорливому замечанию С. Булгакова, к самоотравлению.

Кроме того, осмысливая опыт революции 1905 года, «веховцы» пришли к выводу о прямой связи героического максимализма интеллигенции с разгулом стихии народного бунта, «бессмысленного и беспощадного», если воспользоваться известным определением Пушкина. Ведь именно они, подвижники-революционеры, вдохновляемые высокими целями, звали Русь к топору. Максимализм цели, по мысли того же С. Булгакова, связан с максимализмом средств, с максимализмом действий.

В. Шаламов был знаком с «Вехами», но резко не принимал «антиинтеллигентского» настроения их авторов.

Можно предположить, за столь категорическим неприятием стояло, помимо прочего, вынесенное из лагерей ожесточение писателя, вызванное той часто откровенно зоологической ненавистью к интеллигенции, которую В. Шаламов испытал на самом себе, а не только наблюдал со стороны.

В рассказе «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме» Шаламов пишет о своем знакомом по Бутырской тюрьме, потомственном хлеборобе и технике-строителе по образованию, с которым позже он встретился на Колыме. Ничего дурного он этому Леше Чеканову не сделал, даже постарался помочь как староста камеры, посвятив в тонкости тюремного бытия. Вот почему в душе его затеплилась робкая надежда, что его бывший «одноделец», став десятником в той же бригаде, сможет хоть как-то облегчить ему участь.

Вместо этого он сталкивается с непримиримой, мстительной злобой, слышит яростные слова: «А то, видишь, знакомый! По воле! Друг! Это вы, суки, нас погубили. Все восемь лет я тут страдал из-за этих гадов — грамотеев!»

Ненависть Леша Чеканова — не только и не столько, может быть, даже лично к Шаламову, сколько вообще к интеллигенции, к «грамотеям», или «Иван Ивановичам», как называли интеллигентов в лагерях.

Ненависть эта активно подогревалась государством, видевшим врага в любой независимо мыслящей личности, подбиравшим эшелоны власти по принципу беспрекословного подчинения и слепого исполнительства, а потому культура, талант, мысль, принципы вызвали не только подозрение, но и заведомую неприязнь и отталкивание.

В. Шаламов с его особой чувствительностью к любой несправедливости остро ощущал этот порочный замкнутый круг неприязни

и отчуждения, доведивший многих до отчаяния. Он не только защищал интеллигенцию от обращенных против нее обвинений, но и считал, что «долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, — писал он А. Солженицыну, — но во всей человеческой истории. Борьба с „идеологией“ из той же области».

Однако шаламовская апология интеллигенции отнюдь не имеет ничего общего с ее идеализацией. Нет, писатель и здесь смотрит на вещи достаточно трезво.

В рассказе «Бутырская тюрьма», отвечая на обсуждавшийся заключенными вопрос, кто более стоек, автор пишет: «...В лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка — наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе к своему ежедневному быту в лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно».

Собственно, сама подобная постановка вопроса казуистически жестока и глубоко ложна по существу. Глубоко ложен критерий палки, насилия, как и критерий чрезвычайной ситуации, экстремальности условий, какие представлял лагерь или пытка в тюрьме.

К сожалению, такой подход, в основе которого лежит антигуманное отношение к человеку, свойственное тоталитарному государству, отношение как к винтику, как к подопытному животному: выдержит — не выдержит, стал общим местом для нашего сознания с его почти ницшеанским культом сильных духом героев.

Для понимания позиции В. Шаламова его оценка поведения интеллигенции в лагере имеет существенное значение. С презрением он отзывается об интеллигентах, которые шли в услужение к блатарям, послушно тиская для них «романы», или заискивали перед разного рода начальством.

«Всю жизнь я наблюдал раболепство, пресмыкательство, самоунижение интеллигенции, а о других слоях общества и говорить нечего...» — резюмирует автор «Колымских рассказов».

Приговор В. Шаламова жесток и нелицеприятен, но коррективом к нему служит вот это самое — «а о других...». К интеллигенции писатель предъявлял более высокие нравственные требования, чем к кому бы то ни было другому. Ее он судил по самому высокому нравственному счету.

Революционная традиция для него была важна и дорога не столько социальным пафосом преобразования, переделки общества, сколько нравственным пафосом личного подвижничества, жизненного подвига, способностью к самопожертвованию. И самого себя он чувствует продолжателем этой великой традиции именно в ее нравственном аспекте.

Предпочтение, которое отдает Шаламов этому началу в революционной деятельности, характерно не только для него. Оно имеет глубокие корни в национальном мироощущении, или, как теперь бы сказали, менталитете. Героический максимализм революционной интеллигенции, по сути, не столь уж далек от христианского подвижничества, воодушевляемого религиозным духом.

Правда, и разница между ними значительная, так как христианское подвижничество делает упор не на внешние цели, не на достижение социальной справедливости, а на цели внутренние, на нравственное самосовершенствование, на борьбу с собственными своеволием и гордыней.

Но и революционный максимализм, и христианское подвижничество имеют нечто общее — идею жертвы. Все ту же способность и готовность к самозакланию во имя высшей цели.

Не случайно многие мыслители начала века, осмысливая опыт революционного движения, приходили к выводу, что «в существе своем максимализм — не более и не менее как извращение одной из наиболее привлекательных и ценных сторон русского характера. Это — одна из многих aberrаций нашего религиозного сознания — сбившееся с пути религиозное искание».

И далее автор этого пассажа кн. Евгений Трубецкой продолжает: «Неудовлетворенность всем вообще существованием, неспособность к компромиссам, непримиримость, склонность к повышенным, максималистским требованиям, — все это частные проявления той жажды безусловной, совершенной правды, которая живет не только в нашем интеллигенте, но и в простом народе».

Как видим, Е. Трубецкой не противопоставляет интеллигенцию и народ. Напротив, он находит в них общее, объединяющее, может быть, самое важное, глубинное начало — искаженный религиозный дух, «сбившееся с пути религиозное искание».

Закономерно предположить, что и в В. Шаламове жила эта жажда совершенной правды и он не был чужд религиозному исканию.

Вопрос о вере Шаламова — вопрос чрезвычайно сложный и важный.

Казалось бы, выходец из потомственной священнической семьи, он не мог не сохранить в душе религиозную основу, которая поддерживала дух многих верующих в самых суровых испытаниях. И тех, кто шел в лагеря за свою веру, и тех, кто обратился к Богу уже там, обретая в нем опору и надежду.

Из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына мы знаем, что тверже всего в лагерях держались именно верующие, так называемые религиозники, сектанты. Шаламов подтверждает это наблюдение: «Если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохраняли и сохранили неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми».

Один из самых запоминающихся образов в рассказах Шаламова — образ самозабвенно молящегося посреди заснеженного леса заключенного, священника Замятина. Размашисто крестясь и негромко выговаривая немеющими от холода губами слова литургийной службы, он служит на лесной поляне обедню — одиноко и торжественно.

Теплом веет от этого одинокого человека, горячо шепчущего слова молитвы. «На лице его было выражение удивительное — то самое, что бывает на лицах людей, вспоминаящих детство или что-либо равноценно дорогое».

Как много, казалось бы, должно было бы сказать сыну священника это зрелище! Но рассказчик, отдавая должное высоте духа Замятина, его верности Богу и священническому призванию, его чисто человеческому воодушевлению, вместе с тем остается почти невозмутим. Духовное воспарение Замятина не вызывает в нем особого энтузиазма и не ведет ни к каким «богооткровенным» выводам и озарениям.

Если вывод и делается, то в исключительно психологическом, стоическом плане: «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали».

Этим «самым последним» могло быть разное — стремление вернуться к родным, к семье, любовь к детям и т. п., а не только вера в Бога.

Шаламов словно намеренно переводит разговор в более земное, рациональное, я бы даже сказал, русло, достаточно жестко и однозначно заявляет о своем отношении к религии. Он как бы предвидит, что его ответ может иметь особую значимость, и потому хочет быть предельно честен: «Бог умер» — вот его вывод.

В рассказе «Необращенный» Нина Семеновна, руководитель практики по внутренним болезням, пытается обратить будущего фельдшера в веру, дает ему Евангелие (столкнувшись же с его равнодушием, она вопрошает с нескрываемым удивлением: «Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы воскресший? У вас нет религиозного чувства? Разве Вы мало видели здесь трагедий?»)

Но даже чувствуя свою зависимость от Нины Семеновны, рассказчик не хочет кривить душой. Его ответ прям, но в нем в то же время нет торжества гордыни, иронии, самодовольства. Скорее — горечь от этой тяготящей его душу, но для него тем не менее неотменимой правды.

«Нет, — сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения. — Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?»

Выход веры представляется писателю, исходящему из своего внутреннего опыта, из познания страшной гулаговской реальности, слишком случайным, слишком частым и потому не решающим проблему «согласия с жизнью».

Заметим, что Шаламов не отрицает свою возможность такого выхода — для кого-то, но только не для себя. Блажен, кто верует, кому дано, кто обрел этот свет в окружающем мраке, но — только не придумывать себе того, чего нет. Для Шаламова важнее было оставаться самим собой — во всех случаях жизни.

Достаточно определенно высказывается по этому поводу писатель в «Четвертой Вологде». «Очевидно, у человека существует какой-то запас религиозных чувств — тоже вроде шагреновой кожи, — тратится повседневно. И так как сложность жизни все возрастает, в этой возросшей сложности жизни нашей семьи для Бога у меня в моем сознании не было места. И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме».

И все-таки, несмотря на заявленное безверие, религиозный дух, видимо, жил и в В. Шаламове. Жил как духовная потребность в

нравственном абсолюте, в этическом характере его максимализма, обобщенно звучащем у писателя как требование достоинства.

Не отсюда ли и то впечатление, которое вынесла из общения с Шаламовым в конце 60-х — первой половине 70-х годов И. Сиротинская? «Вспоминая его слова, его поступки, даже интонации, душевные проявления какие-то, я все чаще думаю, что ощущение мира у него было человека религиозного», — пишет она.

Безусловная приверженность началам правды, совести и чести, преданность высшим ценностям и главным нравственным принципам (и среди них — единства слова и действия) — с этим вступал в жизнь юный Шаламов.

Наивный, он еще не понял, не мог понять, замороженный красивой мечтой о справедливости, тех намеков и предостережений, которые обращала к нему жизнь, новая послереволюционная действительность.

Выселение из квартиры и вселение в нее городского прокурора — это было только начало, которое могло показаться сравнительно безобидным, тем более что Шаламов, весь устремленный в будущее, не собирался оставаться в Вологде.

Для того, чтобы поступать в высшее учебное заведение, Шаламову, которому учительница литературы предрекла статью гордостью России, нужно было получить разрешение заведующего роно — как сыну священника. Но вместо разрешения он получил от заведующего Ежкина краткий и весьма красноречивый ответ: «Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, ты не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском». А для пущей убедительности куратор местного народного просвещения сунул ему под нос... фигу.

Сыну священника, то есть представителя чуждого социального слоя, путь к высшему образованию был заказан. Он уже был «не наш», как и его отец, к этому времени полностью ослепший, лишенный всех источников пропитания.

О судьбе отца Шаламов поведал в рассказе «Крест», в основу которого положен реальный конкретный факт: слепой священник, когда их положение становится совсем безвыходным, рубит топором на кусочки уникальный золотой крест, чтобы на вырученные за золото деньги иметь возможность купить еды.

Для достоинства, совести и чести наступали не лучшие времена.

Впрочем, достоинство только тогда и выступает в истинном своем нравственном качестве, когда не зависит от конкретных обстоятельств, благоприятствующих или, напротив, неблагоприятств-

вующих ему. От чьего-то милостивого позволения. Когда оно духовный и нравственный императив своей личности, когда оно — дух, а не оболочка, спадающая при легком потряхивании.

Шаламов, стремившийся к действию, был готов испытать себя, проверить свои нравственные силы, свое мужество, пропустить свои убеждения через горнило жизненного опыта, а если придется, то и страданий. Ему нужно было найти «формулу своей жизни», и эта потребность роднила его тоже с героями русской литературы и русской истории, через которую красной нитью проходит самопожертвование святых мучеников и борцов за дело народное.

Хотя Шаламов вроде бы и отвергает возможное определение его поведения как романтизма жертвы, выдвигая в качестве основного мотива достоинство, тем не менее романтизм этот в нем все-таки, вероятно, присутствовал. Да и концепция личности, наиболее близкая ему по духовному и душевному складу, была героически жертвенная.

«Мне все время казалось, — вспоминает он в «Четвертой Вологде», — что я чего-то не сделал, — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера».

Ссылка на Шиллера с его романтически-героизирующим представлением о человеческом призвании вовсе не случайна. Как и юношеская любовь к Гюго, чье «Эрнани» будущий писатель смотрит в нетопленном вологодском театре, «от счастья ошалев», пользуясь словами из его стихотворения «Виктору Гюго».

Но в эту романтику — романтику «русского мальчика» — вплетается социально-политическая тема, соединявшая Шаламова с большей частью русской интеллигенции. И он с присущей ему склонностью к максимам выводит: «Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция»...

## ИСКУШЕНИЕ АДОМ

Мое первое впечатление от встречи с Варламом Шаламовым было: как он прекрасен! Красивое, очень русское, чисто выбритое лицо северного типа с твердыми чертами, выразительный низкий голос, с неповторимыми интонациями заинтересованности в предмете беседы, статная фигура, значимость каждого слова. Встреча эта произошла в теплый солнечный день 1966 года на кухне у Надежды Яковлевны Мандельштам, только что вселившейся в ее первую собственную квартиру на Новочеремушкинской улице. Сам он жил тогда в двухэтажном домике на Хорошевском шоссе, недалеко от нынешней станции метро «Беговая», куда он меня вскоре пригласил, дав на прочтение несколько из своих рассказов, вызвавших ощущение ожога. К тому времени уже был опубликован «Один день Ивана Денисовича», появились и другие публикации на лагерные темы (в большинстве своем фальшивые), но с такой беспощадной и обжигающей правдой я столкнулся впервые. С тех пор я стал постоянным читателем всего, что выходило из-под его пера (впрочем, он писал черновики простым карандашом, но мне давал только перепечатанные рукописи). Большую часть я по его просьбе отдавал на перепечатку и сохранял один комплект у себя.

Ни строчки из лагерной прозы Шаламова не было опубликовано в России при его жизни. Долгое время и на Западе публиковались лишь единичные его рассказы. Наконец, вышел без его ведома том «Колымских рассказов». Шаламов к этому времени был одинок и болен. Однажды мне позвонила покойная Наталия Ивановна Столярова и попросила к ней зайти. Она вручила мне опубликованную в Париже книгу и попросила передать ее Варламу Тихоновичу с условием вернуть ее обратно, если тот не захочет ее принять. Я пришел к нему в его мрачную неприбранную комнату на Васильев-

ской улице, из которой его перевезли потом в дом престарелых на улице Вилиса Лациса, и передал поручение. Он не ответил ни слова, только взял толстый томик в левую руку и стал оглаживать его, не касаясь, правой рукой — резкими плохо координированными из-за болезни Менъера движениями...

Шаламов вполне четко осознавал и формулировал свои задачи как прозаика. В письме ко мне от 24.03.68 г. он писал: «Отражать жизнь? Я ничего отражать не хочу, не имею права говорить за кого-то (кроме мертвецов колымских, может быть). Я хочу высказаться о некоторых закономерностях человеческого поведения в некоторых обстоятельствах не затем, чтобы чему-то кого-то научить. Отнюдь». Он неоднократно подчеркивал, что лагерный опыт никому не нужен, он ничего не дает ни прошедшим его, ни читающим о нем. И тем не менее он стремился этот опыт выразить и страдал оттого, что его произведения не доходят до читателя. Мне кажется, что ему важно было не научить кого-то на собственном опыте, но показать типичность самой лагерной системы для советского общества — само ее существование окрашивало определенным образом жизнь любого человека в стране — от крестьянина до маршала. Шаламов сознательно отказывается от учительской роли писателя, от передачи своего психологического опыта. В другом письме ко мне он выразился на сей счет достаточно откровенно: «Я не апостол и не люблю апостольского ремесла. Беда русской литературы в том, что в ней каждый мудака выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского считаются делом второстепенным». А в своеобразном литературном манифесте он прямо говорит о задачах «новой прозы»: «Искусство лишено права на проповедь. Никто никого учить не может, не имеет права учить... Новая проза — само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза пережитая как документ... Проза будущего — проза бывалых людей». Шаламов и не пытается учить или морализировать над пережитым. Он предоставляет читателю добытые им факты «смотря на себя как на инструмент познания мира, как совершенный из совершенных приборов...» (Лит. обозр. 1989, № 1, с. 103). Может показаться странным это совмещение ориентировки на документальное изображение концентрированных фактов и отказа от всяческого учительства. Казалось бы, проза Шаламова именно учит, заставляет понять, что такое сталинские (не Сталиным начатые) лагеря. Но она не учит как жить в лагере — в ней нет ни исповеди, ни проповеди.

Для Шаламова было очень важно осознание того, что лагерь — мироподобен. В нем нет ничего, чего бы не было в советском обществе на воле: ни в его социальном устройстве, ни в его духовной атмосфере. Различие лишь в степени висящих над человеком угроз и промежутке времени, в течение которого удается о них не думать. Проза Шаламова посвящена жизни заключенного в лагере, но ее тема гораздо шире.

Безусловно, Солженицын и Шаламов сумели показать лагерную систему как основу советского строя, основополагающий тип отношения идеологической власти к человеку и, одновременно, причину развала этой власти, державшейся на тотальном страхе и зависимости от привилегий, не щедро раздаваемых начальством. Именно это тотальное уничтожение любого проявления личности, любой попытки личности реализовать хотя бы в мысли свою суверенность называлось и продолжает называться социальной справедливостью. Однако, вчитываясь в произведения этих двух великих русских писателей, можно обнаружить важное различие в их исходных установках. Солженицын на собственном — лагерном и послелагерном опыте ищет путь сопротивления системе и пытается передать его читателю. Солженицын показывает способность лучших — Нержина, Сологодина, Костоглотова и других, сопротивляться системе и выстоять.

Шаламов был в условиях, где не существовало надежды сохранить существование, он свидетельствует о гибели людей, раздавленных лагерем. Кажется чудом, что самому автору удалось не только уцелеть физически, но и сохраниться как личность. Впрочем, на заданный ему вопрос: «Как Вам удалось не сломаться, в чем секрет этого?» Шаламов ответил не раздумывая: «Никакого секрета нет, сломаться может всякий». Этот ответ свидетельствует, что автор преодолел искушение счесть себя победителем ада, который он прошел и объясняет, почему Шаламов не учит тому, как сохраниться в лагере, не пытается передать опыт лагерной жизни, но лишь свидетельствует о том, что представляет собой лагерная система. Впрочем, некоторые практические советы в его рассказах найти можно. Во-первых, это рекомендации не пытаться спастись за счет «ударного труда», ибо в лагере убивает не маленькая пайка, но большая. Усиленная работа ведет к скорейшему истощению. Во-вторых, это настойчивое предупреждение об опасности надежды. Казалось бы, надежда — одна из основных христианских добродетелей, а Шаламов неоднократно говорил о стойкости заключенных священников и вообще верующих христиан. Думается,

что христианские добродетели предполагаются образующими целое, а взятые поодиночке они перестают быть добродетелями. Так и надежда без веры и любви, без мужества и благоразумия может привести человека, находящегося в предельных условиях, к опасным иллюзиям и тыкнуть на губительные компромиссы.

Шаламов пишет и о губительности страха, и об опасности положиться на кого-либо из окружающих, хотя в его рассказах можно найти примеры помощи друг другу. В частности, без помощи доброжелателей Шаламов не попал бы на фельдшерские курсы, несомненно спасшие его жизнь.

В упомянутом «манифесте» Шаламов пишет о том, что поиск «новой прозы» смыкается с Пушкинскими заветами, с Пушкинскими исканиями. Действительно, проза Шаламова это продолжение пушкинской прозаической традиции описания человека в особой ситуации через его поведение, а не психологический анализ. В такой прозе нет места исповеди героя, нет места для развернутой рефлексии.

Проза Шаламова — это беспощадное свидетельство человека, прошедшего ад. Но осталась еще его поэзия, где нет лагерных событий, но есть исповедь лирического героя. Стихи он «начал записывать с 1949 г., когда стал работать фельдшером лесной командировки на ключе Дусканья близ речки Дебин, притока Колымы» (из отрывка «Кое-что о моих стихах»). Так начали создаваться «Колымские тетради», немного из которых вошло в пять вышедших при его жизни маленьких сборников. По колымским впечатлениям создавалось большинство стихотворений, записанных в Калининской области с декабря 1953 г. по октябрь 1956 г., а также некоторые из более поздних. Сам Шаламов говорит о своих стихах как о поэтическом дневнике, где «фиксируется самая, может быть, существенная сторона моего бытия, с робким заглядыванием в будущее... предсказанием, угадыванием будущего». Сам Варлам Тихонович считал себя более поэтом, чем прозаиком, хотя его стихи не получили резонанса, сравнимого с откликом на его прозу. Возможно, они еще по-настоящему не прочитаны. Во всяком случае в них он выражал то, что в «документальной» прозе не выразимо: «Ощущение, настроение, намек, полуфраза, интонация — все это область стиха, где разыгрываются сражения за души людей». Вот как он сам пишет о своей поэзии:

*Рассказано людям немного,  
Чтоб грозная память моя  
Не слишком томила тревогой*

*Рассветы и сны бытия.  
И я поступил не случайно,  
Скрывая людские грехи,  
Фигурами умолчания  
Свои переполнив стихи.*

Очень многое Шаламов выражает в стихах через обращение к природе и сам объясняет это: «Общение с природой привело меня к выводу, что в человеческих делах нет ничего, что не могла бы повторить природа, чего не имелось бы в природе».

Вот так он пишет о своей судьбе, в стихотворении «Нерест», посвященном Н. И. Столяровой:

*И мимо трупов в русло  
Плывут живых ряды  
На нерест судеб русских,  
На зов судьбы — беды.*

Бдительный редактор из Совписа именно это четверостишие не пропустил, и автор его вписывал собственноручно в подаренный мне экземпляр книги «Дорога и судьба».

Лагерь так и не отпускал Шаламова до конца его жизни. Уже в доме престарелых он прятал под подушку сухари. В конце концов его повезли в интернат для психохроников, привязав к стулу и без верхней одежды, несмотря на морозный день. Через несколько дней он умер от воспаления легких. На соседней койке лежал прокурор сталинских времен, поедавший собственные экскременты.



*Маматов  
на Западе*

Varlam  
CHALAMOV

LA  
QUATRIÈME  
VOLOGDA



LA DÉCOUVERTE EYARD

Обложка французского издания  
В. Шаламов «Четвертая Вологда» (1986 г.)

МАЙКЛ НИКОЛЬСОН  
Оксфорд, Великобритания

## ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ОН НЕ ЗНАЛ

Варлам Шаламов является особенно ярким примером писателя, чьи произведения на Западе и в России имели разную судьбу. Если на Западе его долго знали только как прозаика, то на страницах советской печати он был представлен в основном как поэт. И лишь читатели самиздата и тамиздата могли более полно ознакомиться с творчеством Шаламова, воссоединить его поэтическую и прозаическую ипостаси.

К сожалению, в заметке Г. Н. Трифонова «К библиографии В. Т. Шаламова» (Сов. библиогр. 1988. № 3. С. 6—8) допущен ряд неточностей, искажающих картину первого знакомства зарубежных русскоязычных читателей с произведениями Шаламова. Трифонов пишет: «Впервые его рассказы попали на Запад и были изданы в переводах на немецкий язык в 1967 г. отдельной книгой из 20 «Колымских рассказов»... И только в 1978 г. в лондонском издательстве «Оверис пабликейшнс» впервые на русском языке выходит в свет большая книга «Колымских рассказов» Варлама Шаламова — 103 рассказа». Иначе говоря, для того чтобы прочесть рассказы Шаламова в оригинале, западные читатели должны были ждать более десяти лет. Это далеко не так.

Немецкий сборник (Кельн, 1967), в котором, кстати, не 20, а 26 рассказов, был действительно первой книгой Шаламова, опубликованной на Западе. Ее немедленно перевели на другие языки — не только на французский, но и, например, на африкаанс (язык буров)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Переводы книг Шаламова выходили также в Англии, США, ФРГ, Югославии. В 1980 г. французское отделение Пен-клуба удостоило его премии Свободы.

Однако, говоря об этой книге, Трифонов совсем не упоминает публикацию в 1966 г. четырех «Колымских рассказов» на русском языке в нью-йоркском «Новом журнале». Они-то и положили начало серии шаламовских рассказов, с тех пор регулярно печатавшихся по-русски в периодических изданиях в течение 60-х и 70-х гг. К тому времени, когда наконец вышла первая (на русском языке) книга «Колымских рассказов» в 1978 г., зарубежный читатель уже был достаточно знаком с прозой Шаламова. Из 103 рассказов, включенных в издание «Оверсис пабликейшнс», не меньше 67 были изданы ранее, а некоторые и не один раз, — в четырех эмигрантских журналах. Таким образом, «Колымские рассказы» Шаламова читаются по-русски и вызывают восхищение западных любителей литературы без малого 25 лет.

Библиография, приложенная ниже, дает более полную картину судьбы шаламовских произведений на Западе. Она включает список публикаций на русском языке, а также перечень отдельных изданий на основных западноевропейских языках. Ряд рассказов, появившихся в журналах и сборниках в переводах, не учитывается.

Судьба произведений Шаламова далеко не уникальна. Можно надеяться, что запоздалое возвращение к русским читателям и литературоведам подобных писателей будет сопровождаться взаимным обменом материалами и первоисточниками.

## ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

### Отдельные издания

1. Колымские рассказы /Предисл. М. Геллера. — Лондон: Overseas Publ. Interchange, 1978. — 895 с.: портр.

Содерж.: По снегу; На представку; Ночь; Плотники; Одиночный замер; Посылка; Дождь; Кража; «Кант»; Сухим пайком; Инжектор; Апостол Павел; Ягоды; Сука Тамара; Шерри-бренди; Детские картинки; Сгущенное молоко; Тишина; Хлеб; Заклинатель змей; Татарский мулла и чистый воздух; Термометр Гришки Логуна; Первая смерть; Тетя Поля; Галстук; Две встречи; Тайга золотая; Васька Денисов, похититель свиней; Серафим; Выходной день; Домино; Геркулес; Шоковая терапия; Стланик; Красный крест; Заговор юристов; Тифозный карантин; Припадок; Надгробное слово; Как это начиналось; Почерк; Утка; Бизнесмен; Калигула; Артист лопаты; Рур; Богданов; Инженер Киселев; Любовь капитана Толли; Крест; Первый чекист; Вейсманист; Причал ада; В больницу; Июнь; Май; Храбрые глаза; В бане; Ключ Алмазный; Зеленый прокурор; Марсель Пруст; Безмянная кошка; Первый зуб; Эхо в горах; Берды Онже; Огонь и вода; Облава; Протезы; Курсы; Смытая фотография; Погоня за паровозным дымом; Поезд; Прокуратор Иудей; Боль; Прока-

женные; В приемном покое; Геологи; Медведи; Ожерелье княгини Гагариной; Академик; Алмазная карта; Необращенный; Визит мистера Поппа; Лагерная свадьба; Потомок декабриста; Комбеды; Магия; Рябоконь; Житие инженера Кипреева; Лида; Аневризма аорты; Кусок мяса; Мой процесс; Женщина блатного мира; Эсперанто; Начальник больницы; Сергей Есенин и воровской мир; Последний бой майора Пугачева; Букинист; За письмом; По ленд-лизу; Графит; Сентенция.

То же. — Париж: ИМКА-Пресс, 1982; То же. — Париж, 1985.

2. Воскрешение ливтенницы: [Автобиогр. повесть; Рассказы] / Предисл. М. Геллера. — Париж: ИМКА-Пресс, 1985. — 321 с.: ил.

Содерж.: Краткое жизнеописание Варлама Шаламова, составленное им самим; Четвертая Вологда; Ворисгофер; Берданка; Монах Иосиф Шмальц; Белка; У стремени; Тамарин-Мирецкий; Борис Южанин; Вечерняя молитва; Тропа; Начальник политуправления; Город на горе; Шахматы доктора Кузьменко; Чужой хлеб; Экзамен; Водопад; Воскрешение ливтенницы.

## Публикации в периодических изданиях

3. Сентенция; Посылка; «Кант»; Сухим пайком: [Рассказы] // Новый журн. — Нью-Йорк, 1966. — Кн. 85. — С. 5—34.

4. Калигула; Почерк: [Рассказы] // Посев. — Франкфурт-на-Майне, 1967. — 7 янв. — С. 3—4.

5. «На представку»; Заклинатель змей; Сука Тамара: [Рассказы] // Новый журн. — 1967. — Кн. 86. — С. 5—20.

6. Крест; Одиночный замер; Стланик: [Рассказы] // Там же. — 1967. — кн. 89. — С. 7—18.

7. Шерри-бренди; Сгущенное молоко; Плотники; Хлеб: [Рассказы] // Там же. — 1968. — Кн. 91. — С. 5—23.

8. Две встречи; Чужой хлеб: [Рассказы] // Вестн. рус. студ. христиан. движения. — Париж, 1963. — № 3/4. — С. 90—94.

9. Начальник политуправления; Рябоконь; Марсель Пруст: [Рассказы] // Новый журн. — 1969. — Кн. 96—С. 31—43.

10. Житие инженера Кипреева; Хлеб [Правильн. назв.: Чужой хлеб]; Литургия: [Рассказы] // Новый журн. — 1970. — Кн. 98. — С. 6—23.

11. Надгробное слово: [Рассказ] // Там же. — 1970. — Кн. 100. — С. 62—75.

12. Графит; Утка: [Рассказы] // Там же. — 1970. — Кн. 101. — С. 6—13.

13. Эсперанто; Инженер Киселев; Лагерная свадьба; Татарский мулла и чистый воздух; Последний бой майора Пугачева; По ленд-лизу; Любовь капитана Толи; Менделист; Погоня за паровозным дымом: [Рассказы] // Грани. — Франкфурт-на-Майне, 1970. — № 76. С. 16—83.

14. Аневризма аорты; Кусок мяса; Припадок; Бизнесмен; Женщина блатного мира; Сергей Есенин и воровской мир: [Рассказы] // Там же. — 1970. — № 77. — С. 15—48.

15. Берды Онже; Экзамен: [Рассказы] // Новый журн. — 1971. Кн. 102. — С. 37—50.

16. Две встречи; Безымянная кошка: [Рассказы] // Там же. — 1971. — Кн. 103. — С. 21—30.
17. За письмом; Огонь и вода: [Рассказы] // Там же. — 1971. — Кн. 104. — С. 29—40.
18. Заговор юристов: [Рассказ] // Там же. 1972. — Кн. 106. — С. 31—49.
19. Город на горе: [Рассказ] // Там же. — 1972. — Кн. 107. — С. 38—49.
20. Причал ада; Храбрые глаза: [Рассказы] // Там же. — 1972. — Кн. 108. — С. 15—21.
21. Букинист: [Рассказ] // Там же. — 1973. — Кн. 110. — С. 5—19.
22. Смытая фотография: [Рассказ] // Там же. — 1973. — Кн. 111. — С. 5—8.
23. Геркулес; Ягоды: [Рассказы] // Там же. — 1973. — Кн. 112. — С. 27—32.
24. Тишина: [Рассказ] // Там же. — 1973. — Кн. 113. — С. 39—46.
25. Визит мистера Поппа; Боль: [Рассказы] // Там же. — 1974. — Кн. 115. — С. 42—59.
26. В больницу: [Рассказ] // Там же. — 1974. Кн. 116. — С. 78—83.
27. Протезы; Прокуратор Иудеи: [Рассказы] // Там же. — 1974. — Кн. 117. — С. 47—52.
28. Домино: [Рассказ] // Там же. — 1975. Кн. 118. — С. 13—22.
29. Как это начиналось: [Рассказ] // Там же. — 1975. — Кн. 119. — С. 5—15.
30. Детские картинки; В бане: [Рассказы] // Там же. — 1975. — Кн. 120. — С. 20—28.
31. Тайга золотая: [Рассказ] // Там же. — 1975. — Кн. 121. — С. 6—10.
32. Ключ алмазный: [Рассказ] // Там же. — 1976. — Кн. 124. — С. 31—36.
33. Рауш-наркоз: [Рассказ] // Там же. — 1976. — Кн. 125. — С. 45—50.
34. Неизвестный солдат: Пятнадцать стихов. /Послесл. А. М. // Вести. рус. христиан. движения. — 1981. — № 1. — С. 115—120.  
Содерж.: «Послеужинный кейф...»; «Я веду себя как Змей...»; «Наверх выносят плащаницу...»; «Между прочим полагается узнать...»; «Португалов был слой общерусской культуры...»; Грибоедов; «Я не хочу прогуливать собак...»; «Миллионы прослушал я месс...»; «Блок болен был цингой — лишь в этом было дело...»; «Ты прописан в Подмосковье — жаль...»; «Лермонтов дал звуковые повторы...»; «Человеческий шорох и шум...»; «Я острижен под машинку...»; «Я учился на медные деньги...»; «Я на бреющем полете...»
35. «Но разве мертвым холодна...»: [Стихотв.] // Там же. — 1982. — № 1/2. — С. 146.
36. Памяти Анны Ахматовой: [Стихотв.] // Экзамен; Белка; Чужой хлеб; Воскрешение лиственницы: [Рассказы] // Там же. — 1982. — № 3. — С. 189—207.
37. Шерри-бренди; Тропа: [Рассказы] // Рус. мысль. — Париж, 1982. — 28 окт. — С. 8.
38. Шахматы доктора Кузьменко: [Рассказ] // Стрелец. — Джерси Сити (Нью-Джерси), 1984. — № 8. С. 4—5.
39. Начальник политуправления // Стрелец. — 1985. — N 1. — С. 4—5.
40. Осколки двадцатых годов: [Воспоминания] // А — Я. — Париж, 1985. — № 1. — С. 124—151.

То же: [Отр.] // Рус. мысль. — 1984. — 23 авг. — С. 8—9; 30 авг. — С. 8—9.

41. Письмо старому другу / Вступ. заметка А. Гинзбурга // Там же. — 1986. — 14 февр. — С. 10—11.

42. Анна Ивановна: Пьеса в 5 карт. // Russ. Lit. Triquarterly. — Энни Арбор (Мичиган), 1986. — кн. 19. — С. 327—364.

43. На похоронах: [Цикл стихотв., посвящ. Б. Пастернаку] / Вступ. заметка и публ. Б. Рябоконя // Рус. мысль. — 1988. — 8 июля. — С. 9.

Содерж.: «Стволы деревьев, двери дома...»; «Он из окон своей квартиры...»; «Будто выбитая градом...»; «Последний кончен поединок...»; «Тот день на славу летний...»; «Рояль на даче»; «Орудье высшего начала...»; «Тополиного пуха мимо...»

44. «Сучья» война: [Рассказ] // Синтаксис. — Париж, 1988. — Кн. 23. — С. 47—68.

## Издания на основных западноевропейских языках

45. «Artikel 58»: Die Aufzeichnungen des Haftlings Schalanow [так!] / Übers. G. D. — Köln: F. Middelhaue, 1967. — 196 S.

То же. «Artikle 58”: Memoires du prisonnier Chalanov [так!] / Trad. par M.-L. Ponty. — Paris: Gallimard, 1969. — 264 p.

46. Recits de Kolyma / Trad. par O. Simon, K. Kerel; Introd. de' O. Simon. — Paris: Denoël. 1969. — 253 p.

47. Kolyma: 30 racconti dai lager staliniani / La trad. e la pref. di P. Sinatti. — Roma: Savelli, 1976. — 270 p.

48. Kolyma Tales / Transl. and pref. by J. Glad. — N.Y.: Norton, 1980. — 222 p.

То же — N. Y. Norton. 1982.

49. Graphite / Trans and pref. by J. Glad. — N. Y. Norton, 1981. — 287 p.

50. Kolyma I: Recits de la vie des camps / Trad. par C. Fournier; Introd. de A. Siniavski. — Paris: Maspero, 1980. — 326 p.

51. Kolyma II: La nuit / Trad., comment. de C. Fournier. — Paris: Maspero, 1981. — 384 p.

52. Kolyma III: L'homme transi / Trad. par C. Fournier. — Paris: Fayard / Decouverte, 1982. — 349 p.

53. Geschichten aus Kolyma / Übers. A. Nitschke und A. Mazella. — Frankfurt a. M.: Berlin; Vien: Ullstein, 1983. — 349 S.

54. Recits de Kolyma / Trad. C. Fournier; Introd. de' A. Siniavski; La postf. de N. Miletich. — Paris: Fayard / Decouverte, 1986. — 1192 p.

55. La Quatrieme Vologda: Recit autobiogr. / Trad. par C. Fournier. — Paris: Fayard / Decouverte, 1986. — 214 p.

МИХАИЛ ГЕЛЛЕР

## ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

*Я вроде тех окаменелостей,  
Что появляются случайно,  
Чтобы оставить миру в целости  
Геологическую тайну.*

Варлам Шаламов

Трагическая судьба русских писателей не удивляет уже давно. Она как бы стала их предназначением. Но даже в русской литературе трудно найти судьбу страшнее.

Варлам Шаламов, 22-летний студент МГУ, был впервые арестован в 1929 г. и впервые осужден — на 5 лет. Молодой писатель В. Шаламов, полностью отбыв первый срок, был в 1937 г. арестован вторично, «незаконно репрессирован», как деликатно констатирует «Краткая литературная энциклопедия». Снова — 5 лет. Если вспомнить время второго ареста, срок этот значит, что следователь даже не потрудился выдумать обвинение. В 1942 г. заключение продлевается «до конца войны», а в 1943 г. сочиняется новое «дело»: за утверждение, что Бунин — классик русской литературы — Шаламов приговаривается к 10 годам лагеря. За «антисоветскую агитацию».

Конец срока совпадает со смертью Сталина. Но еще несколько лет Варлам Шаламов будет биться за право выезда с Колымы на «материк». Возвращение в Москву 50-летнего писателя, почти половину жизни проведшего в лагерях, приносит не только радость. Семейные узы не выдерживают многолетней разлуки. В. Шаламов остается один. Он пишет стихи, которые изредка публикуются

---

Предисловие к книге: В. Шаламов «Колымские рассказы». Париж, ИМКА-Пресс, 1985.

(выходит несколько сборников), и рассказы, отвергаемые советскими издательствами.

И судьба наносит писателю, быть может, самый страшный удар. «Колымские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «исправленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков. Возможно и по отдельным кускам — вот глаз, вот рука — удалось бы понять, что перед нами великое произведение искусства. Но картины — не было бы...

«Колымские рассказы» — прежде всего свидетельство. В. Шаламов — свидетель привилегированный. Он видел рождение лагерной империи, отбывая первый срок в 4-м отделении СЛОНа — Соловецких лагерей особого назначения, в Вишерском лагере, где на строительстве первенцев советской индустрии, на первых стройках коммунизма, «проводился первый опыт новой лагерной системы», «великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну» («Визит Мистера Поппа»). И он провел почти 17 лет на полюсе лютости — на Колыме. «Лагерный опыт Шаламова, — пишет А. Солженицын, — был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт».

«Колымские рассказы» — не только свидетельство. О Колыме рассказано немало. А. Солженицын отмечает в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Я почти исключая Колыму из охвата этой книги... Да Колыме и «повезло»: Там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжила Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары». Из этих мемуаров опубликован только «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Много места уделено Колыме в воспоминаниях Екатерины Олицкой. О Колыме писали иностранцы, счастливо выбравшиеся с Крайнего Севера. В 1950 г. в Лондоне вышли мемуары поляка Анатолия Краковецкого «Книга о Колыме», а в Цюрихе — воспоминания немки Элинор Липпер «Одиннадцать лет в советских тюрьмах и лагерях», через несколько лет в Оттаве появилась книга румына Мишеля Соломона «Магадан».

Свидетельств о Колыме было немало. Но Варлам Шаламов не писал мемуаров. Его книга — это «отражение виденного в вогнутом зеркале подземного мира. Сюжет невообразим и все же реален, существует взаправду, живет рядом с нами» («Боль»).

Евгений Замятин утверждал в 1922 г., что «искусство, выросшее из сегодняшней действительности», может быть только фантастическим, похожим на сон, синтезом фантастики и быта.

На кошмарный, чудовищный сон похожа действительность, в которой работают и умирают герои «Колымских рассказов». Подземный мир, о котором рассказывает В. Шаламов, немедленно — и логично — ассоциируется с адом. После прочтения первых же рассказов книги невольно хочется сказать — это ад, последняя его ступень.

Да и сам Шаламов пишет: «Возвращался из ада» («Поезд»). Ибо кажется, что страшнее ада ничего быть не может.

Колыма не была адом. Во всяком случае не была адом в его религиозном значении, в том смысле, какой дала ему литература. В аду наказывают грешников, в аду мучаются виновные. Ад — торжество справедливости. Колыма — торжество абсолютного зла.

Колыма не была адом. Она была советским предприятием, заводом, который давал стране золото, уголь, олово, уран, питая землю трупами. Это было гигантское рабовладельческое хозяйство, отличавшееся от всех известных истории тем, что рабская сила была совершенно бесплатной. Лошадь на Колыме была неизмеримо дороже раба-зэка. Лопата — была дороже. Беспредельная жестокость в обращении с рабами объяснялась причинами идеологическими — желанием истребить тех, кого Вождь объявил «нелюдьми», и экономическими: резервуар рабской силы был безграничен.

Колыма — близнец гитлеровских лагерей смерти. Но и от них она отличается. Не тем, конечно, что в Освенциме и Трешлинке людей уничтожали в газовых камерах, а на крайнем советском Севере, на полюсе холода заключенных селили в брезентовых палатках. Разница в том, что в гитлеровских лагерях смерти жертвы знали, почему их убивают. Конечно, человеку все равно не хочется умирать. Но убиваемый гитлеровцами знал, что он умирает потому, что был противником нацистского режима, или евреем, или русским военнопленным. Тот, кто умирал в колымских — и во всех других советских — лагерях, умирал недоумевая. И отбывал срок — недоумевая. «Аресты тридцатых годов, — пишет В. Шаламов, — были арестами людей случайных... У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности... Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть» («Последний бой майора Пугачева»). В гитлеровских лагерях смерти заключенные в то короткое время, что им оставалось жить — от

входа в лагерные ворота, украшенные надписью «Работа освобождает», до входа в газовую камеру, — носили на груди знак, определявший причину их смерти: «политический», «еврей», «русский», «поляк»... В колымских лагерях смерти заключенные в то короткое время, что им предстояло заниматься нечеловечески мучительным трудом — от входа в ворота, украшенные сталинскими словами: «Труд — есть дело чести, дело доблести и геройства», до смерти в ледяном шурфе или на грязной больничной койке, — знали лишь, что на их делах стоят таинственные цифры: 58 и номер параграфа, либо загадочные литеры: КРД, КРТД, АСА...

Никогда еще в истории мировой литературы писателям не пришлось видеть ничего подобного: массовое истребление людей, не знающих, почему их убивают, выжав предварительно все соки.

Замятин писал о синтезе фантастики с бытом. На Колыме фантастика стала бытом. Реальность фантастики была более фантастичной, чем все то, что мог вообразить автор романа «Мы».

После публикации первых глав «Записок из Мертвого дома» председатель Петербургского цензурного комитета выразил неудовольствие тем, что Достоевский не показал ужасов каторги, и у читателей может создаться впечатление, что на каторге не так уж плохо, что она не представляет собой достаточного наказания для преступника. Председатель Петербургского цензурного комитета был бы доволен «Колымскими рассказами». В них показаны ужасы, о которых XIX в. даже представления не имел.

Варлам Шаламов пишет о человеке на последней черте, о человеке перед лицом неминуемой смерти. Которая приходит после унижений и мучений, истребляющих в человеке все человеческое. О лагерях смерти — гитлеровских и сталинских — написаны уже сотни книг. Лишь в нескольких рассказана правда о лагере. Проще всего рассказать об ужасах. Но это еще не вся правда. Рассказ об ужасах — это рассказ о палачах и жертвах. Правда о лагерях — правда, которую открывает В. Шаламов: жертва нередко становится палачом, человек легко примиряется со своим рабским положением, с человеком можно сделать все.

У писателя нет иллюзий: «Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдерживали» («Инженер Киселев»).

Лагерь — это другой мир, мир в котором действует закон: ты умри сегодня, а я — завтра. Мир без морали. Лагерь — место, в котором люди без морали — палачи — создали условия, вынудившие отказать-

ся от морали и жертвы. Колымский лагерь был местом особенным. По сравнению с каторжным лагерем, в котором «тянул срок» Иван Денисович, каторга Достоевского — курорт. Но когда Шаламов прочитал «Один день Ивана Денисовича», он послал Солженицыну письмо, в котором, как признает автор «Архипелага ГУЛАГ», «справедливо упрекнул»: «И что еще за больничный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?..»

В колымском лагере — живой кот немислим.

Как писать правду о лагере? Как рассказать о мире без морали? О мире, в котором людоедство далеко не самое страшное из того, что там происходит? О человеке, знающем, что он умрет очень скоро и в рабстве, замученный, затоптанный, потерявший человеческий облик?

Варлам Шаламов знает, что нужен новый жанр. Он мечтает о «прозе будущего». Он создает прозу, адекватную сюжету. Это одновременно рассказ, физиологический очерк, этнографическое исследование. Шаламов пишет необыкновенно просто, очень скупой, избегая пафоса и лобовой оценки. Писатель стремится к максимальной конденсации. Лучшие из рассказов сжаты до предела: 2-3 страницы. Заглавие — одно-два слова. Как правило, писатель берет одно событие, одну сцену, даже один жест. В центре рассказа всегда — портрет. Палача или жертвы. Иногда и палача и жертвы. Вместо анализа психологии писатель предпочитает нарисовать действие или жест. Как правило, последняя фраза, сжатая, лапидарная, как внезапный луч прожектора, освещает происшедшее, ослепляет ужасом.

Рассказ «На представку» начинается — почти дословно — как «Пиковая дама». Только вместо: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова» — «Играли в карты у коногона Наумова». Рассказ заканчивается убийством пыльщика Гаркунова, гревшегося в бараке у блатных, где шла игра, и не пожелавшего отдать свой шерстяной свитер. «Игра была кончена, и я мог идти домой, — повествует рассказчик. — Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров». Это вся колымская эпитафия. Окончательно ослабевший от голода и непосильного труда 23-летний Дугаев ставится на «одиночный замер». Он не знает, что невыполнение этой нормы дневной выработки рассматривается как саботаж и наказывается расстрелом. Рассказ заканчивается: «И поняв, в чем дело, Дугаев пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшней день». Это — единственная реакция человека, умершего еще до расстрела.

Быть может, самое страшное в книге Шаламова не описания зверств палачей или изуверской жестокости блатных, смертельного

голода или убивающего ненавистного труда. Самое страшное — описания людей, живущих в лагере, в лагерных условиях. — Как вы можете жить? — спрашивает вольнонаемный Серафим, случайно, на несколько дней попавший в шкуру заключенного («Серафим»). Почему люди продолжают жить в лагере, где жить невозможно? — спрашивает писатель. Почему они не лишают себя жизни? — задает он вопрос, приведя всего несколько случаев самоубийств.

Одних, — отвечает В. Шаламов, — очень немногих, поддерживает вера в Бога. О верующих писатель говорит с великим уважением: «Более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Раствление охватило души всех, и только религиозники держались» («Курсы»). Он говорит о них с глубокой симпатией и с некоторым недоумением перед явлением, ему не понятным. Но истинная вера в Бога, позволявшая переносить страдания, на Колыме была явлением несчастным. Подавляющее большинство живет, ибо — надеется. Надежда поддерживает в них едва теплящийся огонек жизни. Шаламов видит в надежде зло, ибо смерть часто лучше жизни в лагере: «Надежда для арестанта — всегда кандалы. Надежда — всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды» («Житие инженера Кипреева»). Переживший Освенцим польский писатель Тадеуш Боровский, написавший жестокую правду о человеке в лагере и покончивший самоубийством уже на свободе, и переживший Колыму Варлам Шаламов, единокоренны. «Никогда в истории человечества, — писал Т. Боровский, — надежда не была такой сильной, но никогда она не причиняла столько зла, сколько в этой войне, в этом лагере. Нас не научили отказываться от надежды, и поэтому мы погибали в газовых камерах». Боровский говорит о зле, причиненном неумением отказываться от надежды ради свободы. Шаламов пишет о зле, причиненном воспитанием, построенном на вере в будущее, в обмен на свободу.

На заре революции стены городов молодой советской республики украшались призывом: «Будьте беспощадны, чтобы детям улыбнулось золотое солнце коммунизма». Надежда на «золотое солнце коммунизма» обернулась полярной ночью Колымы.

Вместе с «Колымскими рассказами» ходило в самиздате письмо Фриды Вигдоровой Шаламову: «Я прочитала ваши рассказы. Они самые жестокие из всех, что мне приходилось читать. Самые горькие и беспощадные. Там люди без прошлого, без биографии, без воспоминаний. Там говорится, что беда не объединяет людей. Что там

человек думает только о себе, о том, чтобы выжить. Но почему же закрываешь рукопись с верой в честь, добро, человеческое достоинство? Это таинственно, я этого объяснить не могу, я не знаю, как это получается. Но это — так».

Тайна подлинного искусства необъяснима. Быть может, однако, необходимым его качеством является умение передать — несмотря ни на что — веру в честь, добро, человеческое достоинство.

Страшен, горек, безжалостен мир, представленный в книге Варлама Шаламова, сложенной, как мозаичная фреска, из камешков рассказов. Промыв сотни человеческих судеб, Шаламов бережно добывает из вечной мерзлоты злобы, ненависти, жестокости, равнодушия золотые крупницы доброты, человечности, любви. Он запоминает навсегда взмах руки женщины, проходившей возле заключенных, мокших под холодным дождем в шурфе, и показавшей на небо со словами: «Скоро, ребята, скоро». Для заключенных этот жест, говоривший всего лишь о том, что скоро кончится смена и можно будет вернуться в промерзший барак, был подлинным праздником. Он запоминает навсегда кружку кипятка, которую дал ему незнакомый эзк, и доброе слово.

Писатель ценит, запоминает и заносит на страницы книги каждое проявление доброты не только потому, что они были необычайно редки, но и потому, что они были вызовом палачам. Доброта была — бунтом.

Варлам Шаламов пишет о других, активных проявлениях бунта. Сотни портретов в «Колымских рассказах». Великолепных портретов жертв и палачей: чекистов, инженеров, старых большевиков, профессоров, крестьян, воров. Наиболее значителен портрет главного героя — рассказчика. У него много имен: Андреев, Голубев, Крист, Шаламов... Но это всегда один и тот же человек, который не хочет сдаться. Писатель скажет о нем: «Я никогда не был вольный, я был свободный во все взрослые годы моей жизни» («Необращенный»). Он никогда не был вольный, ибо в стране не было воли, но он — даже в тюрьме — был свободным, ибо ценил свободу больше жизни.

Не случайно с особой любовью написан рассказ «Последний бой майора Пугачева». Его герой — человек, решивший умереть свободным, в бою, с оружием в руках. И, в конечном счете, не имеет значения то, что побег майора Пугачева и его одиннадцати товарищей, нашедших силы поверить в ценность свободы, заканчивается боем, в котором все беглецы погибают. Они умирают свободными.

А. К. Толстой в предисловии к «Князю Серебряному» писал: «В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже

истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их по возможности в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук, и он бросал перо в негодование, не столько от мысли, что мог существовать Иван IV, сколько от того, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования».

А. К. Толстой лишь по историческим источникам знал эпоху Ивана IV. В. Шаламов испытал на себе ужасы сталинского времени. «Колымские рассказы» — книга о лагере, но эта книга об обществе, которое без «негодования» смотрит на лагерь. Считает его нормальным. И ребенок, рисуя мир вокруг себя, рисует проволоку, охранников с псами на поводках, заключенных и вышки («Детские картинки»). «Колымские рассказы» — зеркало, отражающее дно лагерного мира. Жизнь на этом дне состоит в ожидании смерти от непосильного труда, голода, невыносимого холода, пожирающего душу страха. Но этот лагерный мир — отражение жизни за проволокой. Только в лагере все грубее, жестче, откровеннее: отношения рабовладельцев к рабам, отношения между людьми.

Варлам Шаламов принес из ледяного карцера Колымы — память. Его книга напоминает лабиринт, в котором нитью Ариадны служит память. Писатель не придерживается хронологии. Он уходит назад — рассказывает о конце 20-х годов, о своей молодости в Вишерских лагерях, он уходит вперед и рассказывает о возвращении узников в Москву, о невозможности начать новую жизнь чудом уцелевшим. И он остается неизменно на Колыме, где ушли в вечную мерзлоту годы и люди. Многие события и люди — как занозы, застрявшие в памяти; боль от воспоминаний заставляет писателя возвращаться к ним. И нередко мы находим в разных рассказах знакомые персонажи и события. Но всегда они открываются с новой стороны, освещаются иначе, дополняются новыми подробностями. Клубок памяти разматывается, разматывается. Выхода из лабиринта нет.

Страшное свидетельство о том, что «люди сделали людям», написано поэтом. И, быть может, именно это делает книгу Шаламова не перечнем ужасов, а подлинной литературой. Пронизывает «Колымские рассказы» надеждой. Когда все чувства уже покинули человека, он все еще видит вокруг себя природу, небо, снег, непобедимый сибирский стланик, «дерево надежд». Видит цветы и травы буйного короткого колымского лета. И когда человек видит небо и землю, цветы и снег, рождается слово.

Природа и поэтическое слово — последняя надежда человека. Память об этом сохранил Варлам Шаламов.

## СРЕЗ МАТЕРИАЛА

В лагере мне рассказывали мифическую историю — о том, как советские зэки послали весть о себе, впервые открыв миру тайны сталинской каторги. Конечно, отчасти это обычный плод пылкого народного творчества, но такая легенда ходит по зонам, обрастая подробностями, передаваемая от одного лагерного поколения к следующему, на правах неоспоримого факта.

Вскоре после войны, рассказывают, где-то в глухой тайге, недалеко от океана, многие заключенные, избавляясь от непосильной работы, в отчаянии рубили себе руки топором. Отрубленные пальцы и кисти рук закладывались в бревна, в пачки великолепного строевого леса, обвязанные проволокой и предназначенные на экспорт. Начальство не доглядело, спеша зеленое золото обменять на золотую валюту. И поплыл драгоценный груз в Королевство Великобритания. Англичане тогда особенно хорошо покупали советский лес. Только смотрят, развязав пачку, — отрубленные руки. Выгрузили вторую, третью: опять между бревнами человеческое мясо. Смекнули догадливые британцы — что это значит, откуда дрова. «Нет, мы не можем себе этого позволить! — воскликнула Королева, выступая в английском парламенте. — Нельзя покупать дерево, добытое такой ценой!» И расторгли большинством голосов выгодную торговую сделку. С тех пор, говорят, англичане никогда не покупают первосортный советский лес...

Сказка. Мечта. Вечная мечта загубленного человека о высшей справедливости. Дескать, существует еще на свете Королевство Великобритания, брезгающее советскими тюрьмами. Рубите руки в доказательство правды! Они — поймут...

И ведь действительно — рубили. Не ради пропаганды, с отчаяния. Может быть, кто-то и закладывал в дрова: доплывут. Только

вряд ли тот сигнал, обращенный к Господу Богу, дошел до Англии. А если бы и дошел? — Что с того?

Выслушав эту басню тогда, я подумал о Шаламове. Вот уж у кого не было иллюзий. Без эмоций и без тенденций. Просто запомнил. Рубят руки? — это верно. Демонстрация фактов? — да. Но чтобы кто-нибудь понял, пришел на помощь? Да вы смеетесь. Торговля...

И все же — не сами произведения, но их судьба, судьба автора, Варлама Шаламова, чем-то напоминает эту лагерную легенду. Доплыли «Колымские рассказы» по адресу. Сигналы, поданные отрубленными руками, мы видим. В Англии, во Франции. Да что толку!..

Рассказы Шаламова похожи на баланы, на распиленные на лесоповале бревна. Каждый отрезок — рассказ. Но бревен много, и все надо распилить. Кубометрами леса измеряются рассказы Шаламова. Тут и здоровый, крепкий человек не выдержит, поработав месяц-другой. А конца не видать. Люди валяются на лесоповале раньше деревьев.

Но, может быть, надо объяснить, что значит «лесоповал»? Каковы нормы выработки? Кто учетчик? Где мера? И какой пилой необходимо резать стволы? Сколько часов — двенадцать, шестнадцать в сутки — вручную, другой пилой, «жик-жик», пока перепилим?..

Теперь перенесем эту гору на тех, кто ноги едва таскает — не то, чтобы бревно или тачку. Помножим работу, равносильную пытке, на охрану, на бессрочную проволоку, на непрестанные побои и окрики: — «Давай! давай!» И на голод, как оплату труда, как вечное сопровождение жизни.

Но и того мало. Перенесем это к полюсу холода, на край света, на ту северо-восточную оконечность Азии, что по переписи 1893 г. числилась самой пустынной в безлюдной Якутии: 700 душ весь огромный Колымский округ. Страна эта в советских условиях, в ударные сроки, была заселена лагерями, обратившись в колоссальную фабрику, в идеальную тюремную зону как специальную и важную отрасль социалистического хозяйства. В лабиринте лагерей, составляющих внутренности и скелет Советской Империи, Колыма — последний, самый нижний оплот преисподней.

Колыма в сталинской России — все равно, что Дахау или Освенцим для гитлеровской Германии. От этих наименований ни той, ни другой уже не отвертеться. Навсегда припечатано: Дахау, Колыма. Достаточно произнести, и мы видим Колыму с таким же сосредоточением мирового зла в современной истории, как газокамеры и печи Освенцима. Только, может быть, с другим, противополо-

ложным знаком. Плюс вымораживания человека вместо огня крематория. И смерть на Колыме была длиннее в пространственной и временной протяженности. Растянувшись на многие годы и на тысячи километров, смерть здесь сопровождалась трудом, от которого государство имело большую экономическую выгоду, несравнимую с Освенцимом. Сказался рациональный подход на марксистской базе: извлечь максимальную прибыль из человеческого материала, который так и так подлежит уничтожению. Сказался «социализм», построенный на рабской, нищенской основе, в отличие от немецких романтиков.

Над «Колымскими рассказами» веет дух смерти. Но слово «смерть» здесь ничего не означает. Ничего не передает. Вообще, надо сказать, смерть мы понимаем абстрактно: конец, все помер. Представить смерть как жизнь, тянущуюся без конца, на истощении последних физических сил человека, — куда ужаснее. Говорили и говорят: «перед лицом смерти». Рассказы Шаламова написаны перед лицом жизни. Жизнь — вот самое ужасное. Не только потому, что мука. Пережив жизнь, человек спрашивает себя: а почему ты живой? В колымском положении всякая жизнь — эгоизм, грех, убийство ближнего, которого ты превзошел единственно тем, что остался в живых. И жизнь — это подлость. Жить — вообще неприлично. У выжившего в этих условиях навсегда останется в душе осадок «жизни», как чего-то позорного, постыдного. Почему ты не умер? — последний вопрос, который ставится человеку... Действительно: почему я еще живой, когда все умерли?..

Хуже смерти — потеря жизни при жизни, человеческого образа в человеке, самом обыкновенном, добром, как мы с вами. Выясняется: человек не выдерживает и превращается в материю — в дерево, в камень, — из которой строители делают, что хотят. Живой,двигающийся материал обнаруживает попутно неожиданные свойства. Во-первых, человек, обнаружилось, выносливее и сильнее лошади. Сильнее любого животного. Во-вторых, духовные, интеллектуальные, нравственные качества это что-то вторичное, и они легко отпадают, как шелуха, стоит лишь довести человека до соответствующей материальной кондиции. В-третьих, выясняется, в таком состоянии человек ни о чем не думает, ничего не помнит, теряет разум, чувство, силу воли. Покончить самоубийством это уже проявить независимость. Однако для этого шага надо сначала съесть кусок хлеба. В-четвертых, надежда — развращает. Надежда — это самое опасное в лагере (приманка, предатель). В-пятых, едва человек выздоравливает, первыми его движениями будет — страх

и зависть. В-шестых, в-седьмых, в-десятых, факты говорят — нет места человеку. Один только срез человеческого материала, говорящий об одном: психика исчезла, есть физика, реагирующая на удар, на пайку хлеба, на голод, на тепло... В этом смысле природа Колымы подобна человеку — вечная мерзлота. «Художественные средства» в рассказах Шаламова сводятся к перечислению наших остаточных свойств: сухая как пергамент, потрескавшаяся кожа; тонкие, как веревки, мускулы; иссушенные клетки мозга, которые уже не могут ничего воспринять; обмороженные, не чувствительные к предметам пальцы; гноящиеся язвы, замотанные грязными тряпочками. Се — человек. Человек, нисходящий до собственных костей, из которых строится мост к социализму через тундру и тайгу Колымы. Не обличение — констатация: так это делалось...

Героев, в общем-то, в рассказах Шаламова нет. Характеры отсутствуют: не до психологии. Есть более или менее равномерные отрезки «человеко-времени» — сами рассказы. Основной сюжет — выживание человека, которое неизвестно чем кончится, и еще вопрос: хорошо это или плохо выжить в ситуации, где все умирают, преподнесенной как данность, как исходная точка рассказывания. Задача выживания — это обоюдоострая вещь и стимулирует и худшее, и лучшее в людях, но поддерживая интерес, как температура тела, в повествовании Шаламова.

Читателю здесь трудно приходится. В отличие от других литературных произведений, читатель в «Колымских рассказах» приравнивается не к автору, не к писателю (который «все знает» и ведет за собой читателя), но — к арестованному. К человеку, запретному в условиях рассказа. Выбора нет. Изволь читать подряд эти короткие повести, не находя отдохновения, тащить бревно, тачку с камнем. Это проба на выносливость, это проверка человеческой (читательской в том числе) доброкачественности. Бросить книгу и вернуться к жизни можно. В конце-то концов, читатель — не заключенный! Но как жить при этом, не дочитав до конца? — Предателем? Трусом, не имеющим сил смотреть правде в глаза? Будущим палачом или жертвой положений, о которых здесь рассказывается?

Ко всей существующей лагерной литературе Шаламов в «Колымских рассказах» — антипод. Он не оставляет нам никакого выхода. Кажется, он так же беспощаден к читателям, как жизнь была беспощадна к нему, к людям, которых он изображает. Как Колыма. Отсюда ощущение подлинности, адекватности текста — сюжету. И в этом особое преимущество Шаламова перед другими

авторами. Он пишет так, как если бы был мертвым. Из лагеря он принес исключительно отрицательный опыт. И не устает повторять:

«Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе...»

«Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдержал, умирали вместе с теми, кто не выдерживал...»

«Все, что было дорогим, — растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями...»

С этим можно спорить: неужели ничего, никого? Спорит, например, Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:

«Шаламов и сам... пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растреления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились, в какой-то камень упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью... не опровергаете ли вы собственную концепцию?»

Может, и опровергает. Неважно. Не в этом суть. Суть в отрицании человека лагерем, и с этого надо начинать. Шаламов — зачинатель. У него — Колыма. А дальше идти некуда. И тот же Солженицын, охватывая Архипелаг, выносит Шаламова за скобки собственного и всеобщего опыта. Сравнивая со своей книгой, Солженицын пишет:

«Может быть, в «Колымских рассказах» Шаламова читатель верней ощутит безжалостность духа Архипелага и грань человеческого отчаяния».

Все это можно представить в виде айсберга. «Колымские рассказы» входят в его подводную часть. Видя ледяную громаду, качающуюся на поверхности, нужно помнить, — что под нею, что заложено в основе? Там нет ничего. Нет смерти. Время остановилось, застыло. Историческое развитие не отражается во льду. Вот началась война, а что в результате? — уменьшение баланды. Победа над Германией? — новые заключенные. История — пустыня в «Вечном безразличии» лагеря. Куда интереснее фраза, делающая

динамику: «Есть хотелось все больше». Или (с акцентом на выживание): «Я был спокоен и жди одного, когда начальник удалится»...

Когда жизнь достигла степени «полусознания», можно ли говорить о душе? Оказалось, можно. Душа — материальна. Это не читаешь. В это вчитываешься, вгрызаешься. Срез материала — минуя «нравственность» — показывает нам концентрированного человека. В добре и в зле. И даже по ту сторону. В добре? — мы спросим. Да. Выпрыгнул же он из ямы, спасая товарища, рискуя собою, вопреки рассудку — просто так, повинувшись остаточному натяжению мускулов (рассказ «Дождь»). Это — концентрация. Концентрированный человек, выживая, ориентируется жестоко, но твердо: «... Я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком».

Рассказы Шаламова, применительно к человеку, — учебник «Сопромата» (сопротивление материалов). Техники, инженеры это знают, имея дело с производством, строительством. А нам зачем? Ради опоры. Чтобы чувствовать предел. И поддаваясь мечтам и соблазнам, помнить, помнить — из чего мы сотканы. Для этого должен был кто-то подвести черту Колыме, черту человеку. С воздушными замками мы не устоим. Но, зная худшее, — можно еще попробовать жить...

1980 г.

*МИРЕЙ БЕРЮТТИ  
(Нивца, Франция)*

## **КРЕСТ ЕГО СУДЬБЫ**

Мы собрались в родном доме Варлама Шаламова, и у меня такое чувство, что он воскрес! (Я знаю силу этого слова на православном пасхальном празднике). По мере сил каждого, мы участвуем в его воскресении, или, лучше, воскрешении после смерти не только физической, но и смерти его творчества. Да, это было — была попытка сознательно лишить писателя его права на бессмертие — права, которое он завоевал столь мужественно и мучительно. Тому, что он снова живет, мы можем радоваться. Хочется упомянуть слова Жуковского, произнесенные Еленой Боннэр накануне первого международного конгресса памяти Андрея Сахарова: «Не говори с тоской — их нет, но с благодарностью — были»...

Смерть, воскресение, бессмертие — это, может быть, важнейшие слова словаря Шаламова. В «Колымских рассказах» не раз описываются противоположные друг другу процессы: процесс умирания, когда лагерник впадает в состояние «доходяги», где тело почти ничего не весит, где мысль и чувство теряются, а речь чуть ли не исчезает, и процесс воскресения, когда благодаря передышке на лесной «командировке» или в больнице восстанавливаются телесные и умственные силы, и из глубины существа поэта вновь всплывает поэтический дар. Если охватить взглядом страшное пребывание на Колыме, откуда немногие вернулись, получается ошеломляющее впечатление, что Шаламов поистине воскрес из мертвых, познав ад — как он сам писал: «Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад» («О прозе»).

---

Из выступления на Шаламовских чтениях 1991 г.

В одной из поздних записей, где затрагивается вопрос нравственной ответственности поэта, бессмертие дается как синоним жизни полноценной, духовной, реализованной: «Конечно, главная проблема — это жизнь. Личное бессмертие»<sup>1</sup>. Эта фраза перекликается с другой, которая передает настроение молодого Шаламова, освободившегося из первого лагеря: «Темной осенней ветреной ночью 1931-го года я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важную, болезненную для меня тему: мне уже двадцать четыре года, и я еще ничего не сделал для бессмертия». Здесь имеется в виду проведение в жизнь и защита — когда они под угрозой — тех высоких, абсолютных нравственных ценностей, ради которых Шаламов совсем рано вступил в общественную борьбу на стороне оппозиции. Но с особой торжественностью Шаламов произносит слово «бессмертие», когда оно касается вечных художественных ценностей. Его формула: «Искусство — это бессмертие жизни. То, чего не коснулось искусство — умрет рано или поздно» (из письма Б. Пастернаку, 1952 г.) — проста и чеканна, она передает страстную веру Шаламова — художника в торжество искусства. Мы можем понять, как мало значили для него такие понятия, как «известность», «популярность». Он желал быть услышанным и оцененным — другое дело. Понимая это, утешительно вспомнить те дружеские руки, которые годами трудились для его славы — подпольно, самиздатом в России; открыто, хотя и скромно, в Европе.

(Невозможно обойти один печальный факт. Еще в 1969 году был выпущен в Париже маленький сборник рассказов некоего Шаланова. Фамилия была искажена, а текст был переведен на французский язык... с немецкого! Мы были поражены. Навсегда запомнилась суровая красота этой прозы; я стала искать в русских журналах эмиграции другие рассказы, которые выходили изредка...)

Смерть, воскресение, бессмертие, жизнь — если взять эти понятия вместе, то они дадут ключ к пониманию судьбы Шаламова как человека и как писателя.

Судьба проявляется уже через минуту после смерти человека — точно в сознании знающих его вдруг пролегла одна линия, прямая или извилистая, соединяющая концы его существования, и мерещится, что со дня рождения человек направляется именно по этой линии к своей кончине. Так, наверное, перед глазами читателей обрисовался трагический путь Варлама Тихоновича десять лет назад. Но если в час смерти простой смертный непременно получает свою судьбу, тем рельефнее проступает для нас судьба творца,

<sup>1</sup> «Новый мир», № 12, 1989, с. 3.

художника. По злополучной традиции многие русские писатели имеют трагическую участь... Сам Шаламов глубоко чувствовал свое родство со всеми, кто ушел раньше него и кто, как и он, был обречен на страдания. В одном из писем Солженицыну у него есть важная мысль: «Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама неизмеримо дороже, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию». Трагизм и героизм — два компонента судьбы русских писателей. Их путь — путь завоевания новых высот в литературе, в познании человека — уже сам по себе жесток, но они выбирали и выбирают еще более трудный путь — единоборство с властью. Шаламов здесь упоминает имя Лермонтова после Цветаевой и до Пастернака — это значит, что условия жизни, творчества и... смерти русского писателя если и изменились за сто лет, то — только к худшему. В железный двадцатый век писатели в России — как «щепки», уносимые «бурным, почти бешеным потоком истории» (по выражению Надежды Мандельштам)<sup>1</sup>. Испытывая великие трудности, они все-таки не поддавались страху и отчаянию и становились героями.

В предисловии к «Вишерскому антироману» Олег Волков с глубоким состраданием пишет о Шаламове: «Судьба была до конца сурова к человеку, рожденному под злополучной звездой». Эта злополучная звезда — время, в которое ему пришлось жить. В течение своего земного срока Шаламов, как он сам писал, познал «несколько жизней», или «сто жизней», прожитых «сполна», и только писательское слово помогло собрать раздробленные части жизни в единую судьбу, как типограф набирает литеры для составления текста:

*Жизни, прожитой не так,  
Все обрезки и осколки  
Я кидаю на верстак,  
Собирая с книжной полки.*

Наверное, единственная в жизни Шаламова пора, когда не все складывалось «злополучно», — детство. В автобиографической книге он называет Вологду «свободолюбивым городом». В вологодском воздухе начала двадцатого века — исток его судьбы. Живой обмен мыслями, диспуты о историческом пути России, устремленность к действию — все это было свойственно элите, изгнанной сюда из

<sup>1</sup> Н. Мандельштам. Вторая книга. Париж, ИМКА-Пресс, 1980, с. 187.

столиц. От этих семян восприимчивый мальчик получил плоды: «Герои моих детских и юношеских книг — все — русские революционеры»; «моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство».

Поразительно признание Шаламова о своем первом аресте: «19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни...» Дальше он говорит о своей «**так удачно** начатой жизни». И еще: «Я надеялся, что и дальше судьба моя будет **так благосклонна**, что тюремный опыт не пропадет» (очерк «Бутырская тюрьма. 1929 год»). Нетрудно убедиться, что Шаламов был психологически и нравственно подготовлен к такому повороту судьбы — более того, он жаждал его. При таких заявлениях мы, пожалуй, не вправе считать первый лагерный срок Шаламова «злополучным». Это была закалка, которую он считал для себя необходимой. Он был уверен, что «душевных сил моих хватит на большие дела».

По возвращении в Москву в 1932 году он, по собственному признанию, «крепко стоял на всех четырех лапах». Здесь имеется в виду литературное самоопределение Шаламова. Он много писал и «научился отличать свое и чужое». Писал на разные темы, в разных формах, но... не о Вишере. Только позже, после Колымы, в его рассказы входит вишерский опыт. Тут можно задать вопрос: кем бы стал Шаламов, останься он на свободе после 1937 года? Трудно представить его в роли молодого преуспевающего писателя. Его бескомпромиссные взгляды рано или поздно дали бы себя знать. Во всяком случае с участием послушного подданного Сталина он ни за что не примирился бы. Его «полярная судьба» — как он называет свой колымский срок — была predetermined...

Теперь, по прошествии лет, можно утверждать, что Колыма была **по силам** Шаламову. Лагерь оказался исключительной лабораторией, где испытывалась моральная выносливость человеческой природы. Шаламов ее прошел с достоинством. Но мы знаем из «Колымских рассказов», сколько раз его спасало чудо — случайные встречи и события. Все это заставляет снова задуматься над загадкой человеческой судьбы, над парадоксальной формулировкой Шаламова: «Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще вовсе от случайностей не зависит» (рассказ «Первый чекист»).

Большинство тех, кто находился в лагере, жили с тяжким ощущением обреченности и подвластности слепому случаю. Когда невинный человек подвергается всяческому мукам, он начинает верить в действие каких-то сверхестественных сил, в рок, в фатум,

и делается фаталистом. Но Шаламов делает две поправки к этой философии. Во-первых, как он считает, в этом страшном хаосе, где царствует произвол, все же соблюдаются некие правила, какая-то «система» или «схема», которую жертва может расшифровывать и расстраивать. Поэтому он говорит: «Судьба — бюрократка, формалистка» (рассказ «Экзамен»); «Как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть: эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае» (рассказ «Тифозный карантин»). Во-вторых, другая поправка Шаламова к фатализму заключается в том, что человеку нельзя быть пассивным. В рассказе «Сухим пайком» описывается настроение голодных заключенных: «Мы плыли по течению, и мы «доплыли»... Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств напоминало... о толстовском непротивлении злу». В понимании автора это примирение доходяги со своей судьбой — вне этики. Нормальная реакция живого человека на зло — стремление к борьбе, диктуемое инстинктом выживания, тем «звериным напряжением», которое он разделяет с животными. И здесь тоже нет места этике — в смысле тех формальных предписаний, которые существуют в лагере и за его пределами. Недаром герой того же рассказа «Сухим пайком» говорит: «К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты...»

В конечном счете «мизерные возможности выбора» для спасения жизни в лагере почти всегда связаны с переступанием через мораль, диктуемую властью. Это очень ярко видно в рассказе «Лида», где узник отыскивает счастливую случайность и изобретает выход из безнадежного положения. Крист, автобиографический герой Шаламова, решает «биться до конца — биться, как зверь, биться, как его учили в этой многолетней травле человека государством». Шаламов много раз «ставил жизнь на ставку» и выигрывал «битву за жизнь». Так что в итоге можно согласиться с его мнением, что «судьба чаще вовсе от случайностей не зависит». Но не забудем также, что он всегда подчеркивал, что «лагерь — отрицательный опыт для человека». Битва оставляет раны, ожесточает, и мы не знаем, каков бы вышел Шаламов из лагеря, если бы он не был поэтом, художником.

В то время, как бесчеловечные порядки уродливой современности напоминают о безумии людей и абсурдности мира, поэт продолжает искать гармонию. Когда в 1949 году Шаламов, работая лагерным фельдшером, попал в «лесную командировку», он

все свободное время писал — «на обороте старых рецептурных книг, на полосках оберточной бумаги, на каких-то кульках». Мне кажется, что это было его спасением. Здесь он стал по-новому ощущать природу, ее целительную суть, ее торжество над смертью. Сама ритмика колымских горных ландшафтов рождала его суровые стихи. Неудивительно, что «природная» лексика становится основой «Колымских тетрадей» — она перестает быть простым литературным приемом и является самым точным отражением его человеческой судьбы. Образы камня, кирки, топора (стихи «Камея», «Каменотес» и другие) отныне становятся главными в лирике Шаламова, подчеркивая твердость его природы и неустанную работу над собой. Один из любимых образов Шаламова — плавание против течения по реке:

*Я знаю, в чем моя судьба,  
Чтоб рвали камни ястреба  
.....  
И чтоб на узком челноке  
Я поднимался по реке<sup>1</sup>.*

Этот образ как бы концентрирует в себе всю философию писателя — отрицание предопределенности судьбы человека и толстовской идеи непротивления злу, утверждение идеи сопротивления как смысла бытия. Органичность и последовательность этой философии с неизбежностью приводит к мысли, что главная вера Шаламова — это вера в человека, в его огромные духовные ресурсы. Мы имеем случай убедиться, что Шаламов не был ни мистиком, ни метафизиком. Пример Шаламова доказывает, что «злополучие» судьбы в контексте истории может быть преодолено неустанным творческим и духовным горением, требующим полной отдачи человеческих сил. Оно — залог бессмертия художника и нашей волнующей веры в то, что «это чудо воскрешения не может не быть».

---

<sup>1</sup>Сб. «Шелест листьев», М., 1964, с. 122.

УИЛЛИС ХАРТ  
(США)

## НЕ ВЕРИТЬ В СКАЗКИ...

Спустя более чем сорок лет они все еще лежат и ждут. Их тела, оставшиеся в вечной мерзлоте Колымы, отказываются растворяться. Молча, настойчиво они ждут своего возвращения.

Сотни тысяч советских людей были обречены работать и умирать в лесах и приисках Колымы, в северо-восточной Сибири при Иосифе Сталине. Говорят: они «сидели». На русском языке в специфическом контексте слово «сидеть» означает «отбывать срок лишения свободы». Но эти «враги народа» — студенты, инженеры, крестьяне, домохозяйки, офицеры, солдаты — «сидели» только в качестве трупов, упрятанных в мерзлоту отдаленных ущелий. И есть какая-то высшая справедливость в том, что мы знаем о их судьбе от одного из них, который пережил Колыму и потом нашел в себе силы сидеть... сидеть, вспоминать и писать.

Спустя более чем сорок лет мы все еще стараемся забыть об этих мучениках. Мы боимся того, что они могли бы ожить, подняться на поверхность. Это невыносимо для человеческой психики. Мы не можем разрушить скорбную тишину Севера. Тогда нам остается найти в себе силы сидеть... сидеть, читать и думать.

Почему Шаламов пишет о Колыме? Очевидно, он не стремится к прославлению собственной жизни там: «То, что я видел — человеку не надо видеть и даже не надо знать», — говорит рассказчик в «Надгробном слове». И, несомненно, Шаламов пишет прежде всего не о себе: «Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями» («Сухим пайком»). Шаламов писал пото-

Из дипломной работы, защищенной в университете штата Айова в 1993 г. Перевод автора.

му, что он не мог забыть, не мог вычеркнуть из своей памяти то, что он видел и знал. Он писал потому, что он не мог не писать.

Что пишет Шаламов о Колыме? Его творчество -- это не изложение истории сталинских лагерей и не хронологическое описание своего заключения на Севере. «Колымские рассказы» принципиально отличаются от «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Шаламов пишет о России, о ее трагедии в коротких новеллах, каждая из которых — символ. Он отражает мысли и слова миллионов погибших россиян, которые, если смогли бы сегодня говорить, подавили бы нас своей правдой.

В рассказе «Сентенция» Шаламов вспоминает блатную поговорку, которая иллюстрирует, на какой глубине на Колыме лежит эта правда: «не веришь, прими за сказку».

Загадочный и зловещий характер Колымы никогда не был лучше выражен, чем в этом жестоком циничном выражении. Но эта поговорка подходит также ко всему двадцатому веку, к советскому обществу в целом — до и после Сталина — и не только к Колыме. Основанное на всесторонней мифологизации истории, на создании пропагандистских сказок, советское общество превзошло всех по власти страха и лжи. Октябрьская революция, военный коммунизм, коллективизация, террор, лес Катюны, Новочеркасск, Чернобыль — каждое из этих событий было окружено фальшивыми легендами, либо молчанием. Советская история просто полна сказками, затемняющими и искажающими эти события. Но до недавнего времени совсем мало кто смел откровенно ставить под сомнение официальные версии и называть вещи своими именами.

Советское общество 60-х годов было не готово принять Шаламова. Но и сегодня — и не только в России — его произведения считаются трудным чтением. Трудно читать «Колымские рассказы» именно потому, что они требуют, чтобы мы спросили себя, что на самом деле есть правда о человеке. Большинство рассказов так страшно, что читатель невольно думает: а было ли это? Люди становились зверями, животными. Отрицание правды происходит от страха: мы не хотим верить просто потому, что боимся, что правда нас подавит.

Западный читатель, знакомый с русской литературой, знал раньше только два произведения о жизни человека в неволе: «Записки из Мертвого дома» Достоевского и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Но Достоевский и Солженицын не напрягают пределы нашей веры до той степени, как Шаламов. Горянчиков и Шухов являются героями, которым нам не трудно

сочувствовать, которых мы можем понимать. В сущности они мало требуют от нас и едва ли похожи на многочисленных героев Шаламова: Глебова, который не может вспомнить имя своей жены («Надгробное слово»); Савельева, который отрубает себе руку («Сухим пайком»). Достоевский и Солженицын с большим мастерством описывают свой опыт жизни за решеткой. Но мы можем их читать и все-таки верить в сказки.

«Колымские рассказы» разрушают мифы — и прежде всего потому, что Шаламов был свидетелем совсем другого мира. Этот мир не оставлял человеку надежд. Недаром Шаламов пишет: «Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда...» («О прозе»).

Там, где Солженицын пишет о «многих удачах» Шухова, Шаламов просто констатирует: «Все умерли». Это самый красноречивый пример.

Колыма — земля «слухов, догадок, предположений». Она тоже — часть России. И она ярко отражает судьбу России в этом столетии, показывая степень жестокости нового строя по сравнению с его царским предшественником и родоначальником. Это был невиданный в истории цивилизации террор. И он тоже в области «слухов, догадок»: мы никогда не узнаем, сколько на самом деле — до сотен, десятков, единиц — погибло в лагерях.

Но несмотря на то, что нам не узнать все, мы должны читать Шаламова. Он дает нам почувствовать разницу между русской литературой девятнадцатого века — Тютчева, Достоевского, Чехова — и литературой века двадцатого, между старой Россией и истязанным Советским Союзом двадцатого века. Его рассказы — точный слепок места и времени. Они останутся в истории как документ и как образец высокого искусства.

Рыбаков («Ягоды»), Мерзляков («Шоковая терапия»), Пугачев («Последний бой майора Пугачева») ... сломанные жизни множатся, и смерть распространяется неумолимо. Читатель подавлен коварным разгулом Колымы. Оцепененный всем, что он узнает, читатель не становится злобным или возмущенным. Он потрясен. Ему приходится оставлять свои привычные мнения о гуманизме, чтобы понять. Это нелегко делать: Пушкин, Толстой и Тургенев этого не требовали от своих читателей. Это трагично и печально. И как Шаламов пишет, «есть какая-то глубочайшая неправда в том, что челове-

ское страдание становится предметом искусства, что живая кровь, мука, боль выступают в виде картины, стихотворения, романа»<sup>1</sup>.

Где же все-таки место в русской литературе произведениям Шаламова? Являются ли «Колымские рассказы» только лагерной прозой, или они принадлежат всей общей русской литературе? Лучше всех сказал об этом сам Шаламов: «...Я не вижу никаких причин исключить лагерную тему из литературного сырья для современного писателя. Напротив — я вижу именно в лагерной теме выражение, отражение, познание, свидетельство главной трагедии нашего времени. А трагедия заключается в том, как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе («от ликующих, праздно болтающих») прийти при первом же успехе к Освенциму, Колыме»<sup>2</sup>.

Мы видим, что для Шаламова границы жизни и литературы — условны: литература в такой же степени влияет на жизнь, как жизнь на литературу. Он склонен был винить писателей гуманистов XIX века в том, что под их знаменами пролилась кровь в веке XX. Так ли это? Мы не знаем. Но Шаламов имеет право на такое суждение, потому, что он перестал верить в любые «сказки».

В этом и заключена основополагающая разница между прозой Шаламова и всей предыдущей русской литературой. При таком взгляде «Колымские рассказы» выходят за пределы лагерной темы. Они должны быть прочитаны на фоне двухсотлетней истории русской литературы — и не иначе. Они отражают, лучше чем любые другие произведения, судьбу русской литературы, судьбу России в этом вероломном неистовом веке. Недаром Шаламов называл свои рассказы «новой прозой» — он имел в виду невозможность описывать пережитое в духе и стиле старых традиций.

Его рассказы на самом деле являются автобиографическими, рожденными из хаоса Колымы и всего предыдущего: Вишера, Бутырская тюрьма, Вологда... Многое в них рассказано как бы пассивным рассказчиком — человеком, видящим все вокруг, но не вовлеченным в действие. В других рассказах мы находим автора в центре того, что происходит (Крист, Андреев, Голубев появляются там, где «я» неуместно).

«Колымские рассказы» фиксируют судьбы сотен разных лиц. Кажется невероятной такая память. Но кроме памяти здесь требо-

<sup>1</sup> Шаламов, «Новая проза», под ред. И. П. Сиротинской, «Новый мир», № 12, 1989, с. 3.

<sup>2</sup> В письме Шаламова к А. А. Кременскому, «Знамя», №5, 1993, с. 155.

валось мастерство — мастерство рассказчика. Вспоминая пережитое, Шаламов вовсе не стремится преувеличить ужасы. Тогда бы это было похоже на публицистику или триллер. Он сдержан. Он соизмеряет то, что он помнит, с тем, что может быть понятным обычному человеку. Его рассказы кажутся очень простыми, безыскусными, но на самом деле они представляют собой большое искусство. Шаламов не историк, а художник, его задача не собирать факты и документы, а давать живую картину.

В своих воспоминаниях Шаламов описывает трудности в процессе писания: борьба между точностью фактов и точностью художественной, между памятью и забвением. С одной стороны, если он будет воспроизводить мысли и слова Колымы, его язык будет «беден и скуден». С другой стороны, Шаламов утверждает, если писатель украшает, улучшает реальность, тогда истина де-факто находится на втором уровне: «Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости».

Надо помнить всегда о специфике пребывания на Колыме. Разумное размышление здесь, подчеркивает Шаламов, быстро становится почти невозможным. Во-первых, любой знак «витиеватости» интеллигентской речи ставит «политического» под угрозу лагерной власти и блатных — «буквально всех». Из этого следует, что он скоро отвыкает от своей естественной речи: обстоятельства заставляют его применять жаргон Колымы, вплоть до самого низкого слоя. А лишение возможности говорить — это лишь маленький шаг от запрета думать. «Никогда я не задумывался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль»<sup>1</sup>.

«Колымские рассказы» являются искусством самого высокого уровня — не в последнюю очередь потому, что писатель, как правило, избегает грубого жаргона лагеря. Стремление к красоте преодолевает трясину лагерной обыденности. Преображая эту обыденность в своей сжатой, «аскетической» прозе, Шаламов делает Колыму постижимой. Он пишет в рассказе «Ночью», что только жизнь внутри колючей проволоки казалась ему реальной. О жизни за ее пределами, он пишет, что «тот мир казался ему каким-то сном». «Колымские рассказы» дают подобный эффект над читателем: они заставляют нас испытать те же чувства.

---

<sup>1</sup> Шаламов, «Воспоминания», «Знамя», № 4, 1993, с. 127.

## ОТКЛИКИ В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ НА ПЕРВЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗОВ ШАЛАМОВА

«Литературный талант Шаламова подобен бриллианту. Даже если бы эта небольшая подборка рассказов оказалась всем, под чем Шаламов поставил свою подпись, то и этого было бы достаточно, чтобы его имя осталось в памяти людей еще многие десятилетия... Эти рассказы — пригоршня алмазов».

*Гаррисон Солсбери,  
публицист.*

«Этот том Шаламова — первое издание на английском. Он открыл очень большого художника. Удачный перевод Дж. Глэда донес до нас голос Шаламова — выразительный, категоричный, ироничный и часто прекрасный... Шаламов, возможно, является величайшим современным русским писателем».

*«Вашингтон пост».*

«Данный том лишь избранное, но эти короткие шедевры в достаточной степени указывают на огромный поэтический талант. Мы должны быть благодарны профессору Глэду за то, что он познакомил нас с русским писателем, чьим жестоким страданиям должно быть отведено не меньшее внимание, чем его литературному таланту».

*Энтони Берджес, писатель.*

«Жалость, соболезнование и самореклама, которые всегда неизбежно присутствуют при остродокументальном подходе у запад-

---

Сборники «Колымские рассказы» (1980), «Графит» (1981) вышли в Нью-Йорке в переводах Джона Глэда. Подборка предоставлена И. П. Сиротинской.

ного писателя, здесь отсекаются суровостью творческого процесса, как отделяется песок от золота при промывке...»

*«Нью-Йорк таймс».*

«Шаламов — сильный писатель. «Колымские рассказы» — книга, отражающая сущность бытия».

*Сол Беллоу, писатель.*

«Колымские рассказы» стоят особняком вследствие их пессимизма за гранью отчаяния, их знания, более глубокого, чем надежда, их минимальной художественности. Это одно из наиболее значительных произведений XX столетия в русской литературе».

*«Киркус ревью».*

«Шаламов более сдержан, чем Солженицын, в использовании художественных приемов и напряженности действия. Отличаясь простотой, он в действительности обладает огромным талантом».

*«Нью лидер».*

«Степень бесчеловечности в отношениях между людьми показана в этих 24 рассказах разными способами, это кажется почти невозможным».

*Мартин Гофф, критик.*

«Колымские рассказы» доказывают, что способность помнить зло — сильна и необходима. Без этого качества памяти нам никогда не разрушить тюрем и военных машин на этой планете».

*«Чикаго сан».*

«Шаламов — великий русский писатель... Советское правительство пыталось игнорировать его. Мы не можем позволить себе этого».

*Ричард Табер, публицист.*

«Другие рассказы этой темы, русские и немецкие, относятся к строгой и чистой литературе, но рассказы Шаламова кажутся выше других — это очень большое искусство вследствие своей невероятной потрясающей реальности».

*«Киркус сервис».*

«Шаламов в нескольких словах способен раскрыть весь ужас насилия».

*«Кливленд плейн дилер».*

«Одно из глубочайших и наиболее страшных свидетельств очевидца об архипелаге ГУЛАГ».

*Андрей Амальрик, публицист.*

«Шаламов блистателен в своей попытке описать психологию человеческих действий в условиях длительных и безнадежных лишений. Он собирает там, где Солженицын теряет».

*«Хьюстон хроникл».*

«Шаламов открыл нам, что в то время, как нацистские лагеря смерти были давно уничтожены или сохранены как страшные свидетельства массового уничтожения, лагеря на Колыме продолжали существовать».

*«Бостон глоб».*

«Шаламов соединил несоединимое: тихий спокойный рассказ и трагическую историю советской действительности. Как сильный писатель он избирает путь творчества, чтобы отомстить».

*«Таймс».*

«Однажды эти рассказы будут опубликованы в России, и они проникнут более глубоко в сознание будущих поколений и будут в нем жить дольше, чем все документальные свидетельства в мире».

*«Обсервер».*

«Этот прекрасно переведенный сборник следует рекомендовать для большинства библиотек».

*«Лайбрери джорнэл».*

## ИЗ ИСТОРИИ РОДА ШАЛАМОВЫХ

Хорошо сохранившиеся архивы Вологодской и Великоустюгской епархии позволяют восстановить генеалогическое древо рода Шаламовых. Это был старинный и разветвленный священнический род, ведущий свое начало из Великого Устюга, северного оплота православного христианства.

Упомянутый в клировой ведомости Сретенского собора Великого Устюга за 1849 год умерший дьячок Максим Шаламов Харлампиев сын был, конечно, еще не самым дальним предком писателя, т. к. более углубленные исследования на этот счет пока не проводились. В те же годы и ранее в храмах Великого Устюга служили Михаил Максимов Шаламов (Сретенский Собор), Дмитрий Максимов Шаламов (церковь Симеона Столпника). В 1846 г. был рукоположен в сан протоиерея священник Устюжского Прокопиевского собора Павел Иоанов Шаламов, окончивший духовную академию в Москве. Все это свидетельствует о том, что род Шаламовых был достаточно известным.

Прадед писателя Иоанн Максимов Шаламов (1790—1849), уроженец Великого Устюга, служил священником Васильевской церкви Шасской волости неподалеку от города (50 километров по реке Юг). Его сын Николай (р. 1827 г.), пойдя по стопам отца, окончил Вологодскую духовную семинарию и некоторое время служил в церкви Параскевы Пятницы Великого Устюга. Здесь он женился (на дочери местного пономаря Андрея Мценикова) и в 1867 г. «по жребию» был направлен в Вотчинский приход Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне территория Коми республики).

Эти сведения важны для уточнения некоторых фактов, фигурирующих в автобиографической книге В. Т. Шаламова «Четвертая Вологда». Несомненно, что писатель, называя своего отца из «усть-сысольской глуши», следовал семейной легенде — вероятно, шедшей от самого отца, любившего подчеркивать неординарность своей карьеры и ее сходство с карьерой известного социолога

Питирима Сорокина. Но если Сорокин действительно был «полузырянником» (его мать коми-зырянка), то Тихон Николаевич по крови был, несомненно, русским, учитывая, что брак его родителей был заключен еще в Великом Устюге.

Нуждаются в уточнении и факты «Четвертой Вологды», касающиеся деда писателя Николая Иоанновича. Упоминаемая здесь причина смерти деда („умер на крыльце собственного дома, замерз, поскольку, его, пьяного, не пустила домой бабка“) скорее всего тоже является легендой, т. к. деду в то время было 83 года и его жена умерла раньше. Возможно, что он был в некоторой степени подвержен известной слабости, но она имела другую подоплеку: его жена страдала сильным нервным расстройством (после того, как на ее глазах убило молнией одного из ее детей). Во всяком случае дед Шаламова оставил о себе добрую память прихожан, что подтверждает книга «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии», изданная в 1911 г. в Усть-Сысольске. Как явствует из нее, приехав в дальний неустроенный приход, где царили «полное невежество и темнота народа», он за сорок лет бесслесной службы немало сделал для просвещения зырян: при нем в селе Вотча были открыты церковно-приходская школа, земское училище, приобретена новая утварь, колокол-благовестник и т. д. Самое же главное — дед Шаламова отличался бескорыстием и добротой — «нищие не имели отказа у него дома», «пешком ходил совершать требы за много верст, чтобы утешить больных и умирающих», «хоронить его пришли все — от стара до мала»...

Можно сделать вывод, во всяком случае, что дед писателя был типичным сельским священником, исполнявшим свой долг вполне добросовестно. Это подтверждает и некролог в «Вологодских епархиальных ведомостях» (№ 1 за 1911 г.) под названием «Венок на могилу доброго пастыря». Характерно, что оба его сына — Тихон и Прокопий, продолжившие семейную стезю, были незаурядными, развитыми людьми.

Их судьбы сложились по-разному. Тихон, родившийся в 1868 г., рано в 17 лет, уехал из Вотчи и поступил в Вологодскую духовную семинарию. Закончив ее в 1890 г., он был учителем в церковно-приходской школе, а после рукоположения в священники в 1893 г. получил направление в Североамериканскую православную миссию на о. Кадык. В дополнение к тому, что сообщает о своем отце Шаламов в «Четвертой Вологде», следует привести данные из его послужного списка на Кадыке: «за крепкостоятельное служение на

пользу православия среди инославия награжден скуфьею (1898 г.), камилавкою (1901 г.) и золотым наперстным крестом (1904 г.)<sup>1</sup>.

Тихон Николаевич состоял смотрителем и законоучителем Иосафовского и Германовского детских приютов, был председателем общества трезвости, руководил братством взаимопомощи. Небезынтересно отметить, что одновременно с о. Тихоном Шаламовым службу в Американской православной миссии проходил будущий патриарх Тихон (Белавин). Весьма показательно письмо с Кадыяка, опубликованное в «Вологодских епархиальных ведомостях» (№ 16, 1911 г.), где о. Тихона Шаламова называют «лучшим батюшкой на Аляске».

При всем этом отец писателя был далек от церковной ортодоксии. Вернувшись в Вологду в 1904 г., он активно включается в общественную деятельность. «Крамольная» панихида по М. Герценштейну, убитому в 1906 г. черносотенцами, почитание трудов П. Флоренского и С. Булгакова, участие в обновленческом движении — все это, описанное в «Четвертой Вологде», свидетельствует, что о. Тихон принадлежал к новому типу просвещенного духовенства, рожденному общественным подъемом начала XX века.

Есть основания полагать, что тот же тип представлял и его брат Прокопий. Окончив Вологодскую духовную семинарию, он вернулся в Вотчу, где продолжал дело отца. Именно он был автором книги об истории Вотчинского прихода, что характеризует его просветительские устремления. Прокопий Николаевич и получил в награду серебряную медаль Красного Креста за благотворительную деятельность во время русско-японской войны. Он прослужил священником в Вотче до 1929 года. В 1930 г. он был арестован и расстрелян за «антисоветскую агитацию». Из недавно опубликованных материалов следует, что это было совершенно бездоказательное обвинение<sup>2</sup>.

Отец Шаламова после революции тоже подвергся гонениям. «Отцу мстили все и за все — за грамотность, за интеллигентность», — писал Шаламов в «Четвертой Вологде». Но умер Тихон Николаевич своей смертью — от воспаления легких в 1933 г. Его пощадили, вероятно, из-за слепоты, которая началась у него еще в 20-е годы.

Два гнезда Шаламовых — в Вологде и Вотче, разделенные сотнями километров, по-видимому, совсем не общались. Грозные события еще

---

<sup>1</sup> Гос. архив Вологодской обл., ф. 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.

<sup>2</sup> Раскулачен был за невыполнение плана хлебозаготовок, которых не имел. «Я задет тем, что конфискацию провели в 2 часа ночи и унесли все имущество». (Из протокола допроса П. Н. Шаламова — «Красный Север», 17 января 1992 г.).

более отдалили их друг от друга. В настоящее время ни в Вологде, ни в Вотче представителей рода Шаламовых не осталось.

По признанию писателя, наибольшее влияние на него в детстве оказала мать Надежда Александровна (девичья фамилия Воробьева). Она была коренной вологжанкой, происходила из культурной учительской семьи. Однако, нельзя недооценивать и влияние отца, за которым стояла крепкая семейная традиция. Гены русского священничества, несомненно, сказались в Шаламове — в его нравственной твердости и духовной стойкости.

*И. СИРОТИНСКАЯ,  
В. ЕСИПОВ.*

## ОБ АВТОРАХ

**СИРОТИНСКАЯ Ирина Павловна** — заместитель директора Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), отв. секретарь комиссии по литературному наследию В. Т. Шаламова.

**ОРЕХОВА-ДОБРОВОЛЬСКАЯ Елена Евгеньевна** — бывшая колымчанка, узница ГУЛАГа. Живет в Киеве.

**СУЧКОВ Федот Федотович** (1915—1991) — скульптор, поэт, автор книги «Бутылка в море» (М. 1990).

**НЕКЛЮДОВ Сергей Юрьевич** — доктор филологических наук, сын О. С. Неклюдовой, второй жены В. Т. Шаламова. Живет в Москве.

**СИДОРОВ Евгений Юрьевич** — литературный критик, до 1991 г. ректор Литературного института, с 1991 г. — министр культуры России.

**ЛАКШИН Владимир Яковлевич** (1933—1993) — литературовед, критик, близкий друг и соратник А. Т. Твардовского.

**ЗОЛОТОНОСОВ Михаил Анатольевич** — литературный критик. Живет в Санкт-Петербурге.

**ЕСИПОВ Валерий Васильевич** — журналист. Живет в Вологде.

**ШКЛОВСКИЙ Евгений Александрович** — литературный критик. Живет в Москве.

**ШРЕЙДЕР Юлиан Анатольевич** — доктор философских наук, публицист. Живет в Москве.

**НИКОЛЬСОН Майкл** — преподаватель Университета-колледжа в Оксфордском университете (Великобритания).

**ГЕЛЛЕР Михаил** — историк, публицист. Живет в Париже.

**СИНЯВСКИЙ Андрей Донатович** — литературовед, профессор университета Сорбонны. Живет в Париже.

**БЕРЮТТИ Мирей** — славист, преподаватель университета в Ницце.

**ХАРТ Уиллис** — выпускник университета Айова (США).

## СОДЕРЖАНИЕ

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Рассказы, не вошедшие в сборники	5
Из «Воспоминаний»	17
Письма А. И. Солженицыну	63
О письме в «Литературную газету»	104

### ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ

И. Сиротинская. Долгие-долгие годы беседа	109
Е. Орехова-Добровольская. «За нами придут корабли»	147
Ф. Сучков. Его показания	153
С. Неклюдов. Третья Москва	162

### ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

Е. Сидоров. Бесстрашие мысли	169
В. Лакшин. Не уставал вспоминать	174
М. Золотоносов. Последствия Шаламова	176
В. Есипов. Традиции русского Сопротивления	183
Е. Шкловский. Жажда совершенной правды	195
Ю. Шрейдер. Испытание адом	203

### ШАЛАМОВ НА ЗАПАДЕ

М. Никольсон. Открытие, которого он не знал	211
М. Геллер. Последняя надежда	216
А. Синявский. Срез материала	224
М. Берютти. Крест его судьбы	230
У. Харт. Не верить в сказки	236
Отклики в американской прессе	241
Из истории рода Шаламовых	244

### ШАЛАМОВСКИЙ СБОРНИК

#### Выпуск первый

Художник *С. М. Иевлев*

Фото и репродукции *Д. В. Чесноков*

Технический редактор *Н. И. Тимонова*

Корректор *А. Д. Чухина*

---

Сдано в набор 15.02.94. Подписано в печать 10.06.94.  
Формат 60x84/16. Печать офсетная. Бумага типографская №2.  
Усл. печ. л. 14,4. Уч.-изд. л. 15,38. Тираж 5000. Зак. 1339.

---

Оригинал-макет подготовлен  
в издательстве Вологодского института повышения квалификации  
и переподготовки педагогических кадров  
160012, г. Вологда, ул. Козленская, 99<sup>а</sup>

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.